

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

В.В. Оглезнев

**Г.Л.А. ХАРТ И ФОРМИРОВАНИЕ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
ПРАВА**



Издательство Томского университета

2012

УДК 340.124
ББК 87.3
О37

Рецензенты:
д-р филос. наук *Е.В. Борисов*
д-р филос. наук *В.А. Ладов*

Научный редактор – д-р филос. наук *В.А. Суровцев*

Оглезнев В.В.

О37 Г.Л.А. Харг и формирование аналитической философии права. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. – 216 с.

ISBN 978-5-7511-2117-4

Впервые на русском языке представлено исследование генезиса аналитической философии права через анализ философии языка Г.Л.А. Харга. Изложены ключевые положения и методологические основания теории аскриптивного юридического языка.

Для философов, лингвистов, правоведов.

УДК 340.124
ББК 87.3

Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 11-33-00343а2), РГНФ (грант № 12-13-70001а), РГНФ (грант № 12-33-01380а2) Совета по грантам Президента РФ (грант № МК-270.2011.6), в рамках государственного задания Минобрнауки России на проведение научных исследований (тематический план НИР Томского государственного университета) № 6.4832.2011 и в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», мероприятие 1.2.1, регистрационный № 2012-1.2.1-12-000-3003-086.

ISBN 978-5-7511-2117-4

© В.В. Оглезнев, 2012

ВВЕДЕНИЕ

В современной научной литературе принято считать, что свою популярность и авторитет Герберт Лайонел Адольфус Харт (1907–1992) приобрел именно в качестве теоретика и философа права, внесшего значительный вклад в развитие юриспруденции XX века. Широкую известность ему принесла публикация фундаментальной работы *Понятие права*¹, первое издание которой состоялось в 1961 году, а затем она несколько раз переиздавалась. С этого времени принято отсчитывать становление нового направления в правопонимании – аналитической теории и философии права. Это достаточно специфическое течение, являющееся изначально частью аналитической философии, а после – самостоятельной отраслью научного знания, характеризуется широким применением новаций и методик лингвистического анализа языка к исследованию правовых конструкций. Вследствие чего «прояснение» языка права через анализ словоупотребления основных юридических понятий становится основной задачей правоведа, от успешности решения которой будет зависеть качество и эффективность правовой системы. Поэтому поиски вариантов построения последовательной и непротиворечивой концепции языка права, учитывающей его онтологические и эпистемологические особенности, которые отличают его от обыденного языка, становятся условиями, задающими направления развития современной *аналитической философии права*.

¹ *Hart H.L.A. The Concept of Law. Oxford: Oxford Clarendon Press, 1961. 262 p.*; Русский перевод: *Харт Г.Л.А. Понятие права* (пер. с англ. Е.В. Афонасина, М.В. Бабака, А.Б. Дидикина и С.В. Моисеева). СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2007. 302 с.

В данном исследовании мы будем придерживаться достаточно условного деления философии Харта на «ранний» и «поздний» периоды: «ранний» период датируется 1948–1960 гг., а «поздний» – 1961–1990 гг. Причем «ранним» мы будем называть *философский* период, когда была разработана концепция применения аналитической методологии к исследованию правовой действительности и сформированы основные идеи и постулаты аналитической философии права, а «поздним» – собственно, теоретико-правовой, или юридический, когда стало возможным оценить результативность и эффективность предпринятого на предыдущем этапе мероприятия. Иными словами, мы считаем необходимым различать «раннего» Харта – лингвистического философа и «позднего» Харта – теоретика и философа права. Однако как в англо-американском научном мире, так и в отечественной академической среде подобная дифференциация никогда системно не проводилась, не тематизировалась и не обсуждалась. И как результат подобного игнорирования и пренебрежения – творчество Харта в научной и учебной литературе упорно рассматривается исключительно через призму *Понятия права*, без должного внимания к периоду, предшествующему созданию этой работы. Необходимость допущения указанного *разделения* обусловлена следующими соображениями. Во-первых, с 1945 года, до своего избрания в 1952 году на должность профессора юриспруденции Оксфордского университета, Харт преподавал философию в New College, Oxford. В 1949 году им была опубликована (сначала в Proceedings of the Aristotelian Society, а затем в Logic and Language) первая научная статья, посвященная исследованию применения методологии аналитической философии языка в сфере права, под названием *The Ascription of Responsibility and Rights (Приписывание ответственности и прав)*¹. Эта работа вызвала острый интерес у англо-американских аналитических философов. И еще в течение многих лет этот труд вызывал бурные дискуссии, критические рецензии, обоснованные

¹ Hart H.L.A. The Ascription of Responsibility and Rights // Proceedings of the Aristotelian Society. 1949. Vol. 49. P. 171–194. Харт Г.Л.А. Приписывание ответственности и прав (пер. с англ. В.В. Оглезнева). // Приложение к настоящему изданию. Здесь и далее работа цитируется с указанием страниц в скобках по этому изданию.

и необоснованные осуждения и одобрения. Тем не менее именно публикация *Приписывание ответственности и прав* прославила Харта в философской академической среде и обеспечила широкое обсуждение его философской концепции.

Во-вторых, активное участие Харта в научной (философской) жизни Великобритании: выступление с докладами на заседаниях Aristotelian Society и Mind Association, публикация статей в таких авторитетных философских журналах, как The Philosophical Quarterly, Mind, Proceedings of the Aristotelian Society, Logic and Language, The Philosophical Review и др., кроме того, с 1959 по 1960 г. Харт был президентом Аристотелевского общества, – приходится именно на «ранний» период его творчества. Концептуальное содержание данного этапа – убедительное подтверждение его приверженности (аналитической) философской традиции, процветавшей в Оксфорде середины XX века.

В-третьих, интеллектуальный дух, который царил в то время в Оксфорде, убежденность, что все и большая часть философских проблем могут быть решены внимательным и осторожным отношением к языку, характеру употребляемых понятий и их концептуальным различиям, не мог не завладеть Хартом. Еще во время службы в британской военной разведке (1940–1945) он познакомился с Г. Райлом и С. Хэмширом (в то время уже достаточно известными и авторитетными философами), беседы с которыми, по воспоминаниям Харта, произвели на него неизгладимое впечатление и оказали сильное влияние на переоценку его жизненных ориентиров¹. В 1945 году Харт, будучи преподавателем философии в New College, Oxford, познакомился с Дж.Л. Остином, вместе с которым он руководил теоретическим семинаром под названием *Excuses*, где обсуждались вопросы, связанные с условиями и основаниями уголовной ответственности. В близких дружественных отношениях Харт был и с другими коллегами по Оксфорду – И. Берлином, П.Ф. Стросоном, Ф. Вайсманом, А. Айером, Дж. Урмсоном и др. При этом важно иметь в виду, что только

¹ После окончания Второй мировой войны Харт оставляет адвокатскую практику, которой он отдал почти восемь лет, и начинает преподавать философию в New College, Oxford.

три философа, по словам Харта, повлияли на него больше, чем другие: Дж.Л. Остин, Л. Витгенштейн и Дж.Э. Пол, что явно прослеживается в его «ранних» работах¹.

Примечательно, что в 1977 году в честь семидесятилетия Харта по инициативе его учеников П.М.С. Хакера и Дж. Раза была издана коллективная монография *Law, Morality and Society: Essays in Honour of H.L.A. Hart*², участие в которой приняли не только именитые философы права, такие как Р. Дворкин, Р. Кросс, Дж. Раз, Дж. Финнис, Дж. Файнберг и др., но и аналитические философы – П.М.С. Хакер, Г.П. Бейкер, Дж.Л. Маки, Ф.Р. Фут и др. А в 2001 году авторитетное издательство Blackwell Publishers опубликовало в *Companion to Analytic Philosophy* список из 39 выдающихся, по словам одного из редакторов, аналитических философов прошлого столетия³. Где наряду с такими всемирно известными мыслителями, как Г. Фреге, Б. Рассел, Дж.Э. Мур, Л. Витгенштейн, Г. Райл, Дж.Л. Остин, Ф.П. Рамсей, Дж.Р. Серл, С. Крипке и др., к аналитическим философам причислен и Г.Л.А. Харт.

Резюмируя вышеизложенное, мы делаем вывод, что творчество Харта (особенно «раннего») необходимо и должно рассматривать в контексте развития аналитической философии XX века (и прежде всего, оксфордской школы лингвистического анализа, или философии обыденного языка). Результатом развития данной точки зрения в предлагаемой вниманию монографии будет допущение, что именно благодаря Харту, впервые применившему потенциал аналитической методологии к изучению права, стала возможной экспликация и концептуализация *аналитической философии права*.

И, наконец, в-четвертых, помимо пропедевтических функций, позволяющих системно исследовать и оценить философско-правовую концепцию Харта (как до 1961 года, так и после) и генезис аналитической философии права, данное исследова-

¹ Sugarman D. Hart Interviewed: H.L.A. Hart in Conversation with David Sugarman // Journal of Law and Society. 2005. Vol. 32, № 2. P. 275.

² Law, Morality, and Society: Essays in Honour of H.L.A. Hart. Ed. by P.M.S. Hacker and J. Raz. Oxford: Oxford University Press, 1997. 322 p.

³ Martinich A.P. Introduction in “A Companion to Analytic Philosophy”, ed. by A.P. Martinich and David Sosa. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. P. 4.

ние предполагает своей целью устранить имеющийся в истории философской мысли пробел и познакомить отечественного читателя с малоизученной (а вернее, практически не изученной) стороной философии Харта. При этом если в англо-американской научной и учебной литературе анализу наследия Харта (особенно «позднего») уделяется достаточное (а иногда даже пристальное) внимание, что находит свое отражение в многочисленных публикациях. Чего нельзя сказать об отечественной философско-правовой традиции, игнорирующей вопросы становления и развития аналитической философии права в целом и философии Харта в частности. Например, в учебном пособии В.Г. Графского *История политических и правовых учений* (и в некоторых других работах российских исследователей) указано лишь, «что с историко-философской точки зрения аналитическая юриспруденция является модификацией юрико-методологического позитивизма, во многом сближающегося с юридическим позитивизмом Г. Кельзена, с модификациями юридического аналитического догматизма Г. Харта и юридической лингвистикой»¹. Очевидно, что данный подход выглядит несколько поверхностным и тенденциозным, не отражающим реального положения дел, генезиса, состояния и перспектив развития современной аналитической юриспруденции. Поэтому чтобы хоть как-то прояснить указанную ситуацию, в этой работе мы попытаемся ответить на два весьма существенных и актуальных с точки зрения поставленной цели вопроса: во-первых, что является предметом исследования аналитически ориентированных философов права, а во-вторых, какое влияние оказал Харт на концептуализацию этого предмета.

Достижению сформулированных целей будет способствовать анализ *теории аскриптивных правовых высказываний*, которая в полной мере характеризует философию языка «раннего» Харта и представляет собой методологический базис его аналитического подхода к философско-правовой проблематике. Причем интерес в исследовании будет представлять не столько актуализация аскриптивной те-

¹ Графский В.Г. История политических и правовых учений. М.: Проспект, 2007. С. 518.

матики в области права, сколько имплицитное методологическое расширение этого понятия за счет предлагаемой интерпретации концепции «раннего» Харта как *аналитической философии языка права*.

«Лингвистический поворот» в философии права принято связывать с именем именно Харта, несмотря на то, что его предшественники Дж. Остин и И. Бентам внесли не меньший вклад в перепрофилирование юриспруденции. Сегодня Харт, бесспорно, считается основателем аналитического неопозитивистского направления в понимании права. Однако в современной философско-правовой литературе зачастую игнорируется тот факт, что экспликация лингвистической проблематики в сфере права берет свое начало не в *Понятии права* Харта, а в его первой и скандально известной статье *Приписывание ответственности и прав*, которая впервые была представлена 23 мая 1949 года на заседании Аристотелевского общества в Лондоне. Позднее Харт откажется от изложенной в этой статье идеи, посчитав ее ошибочной, и больше никогда к ней не возвратится (ни в качестве упоминания, ни в качестве цитирования). Примечательно еще и то, что он не включит ее (хотя должен бы, исходя из названия) в свой сборник *Punishment and Responsibility. Essays in Philosophy of Law*, отметив во введении, что основные положения этой статьи теперь не кажутся ему столь верными и очевидными и что большая часть критических замечаний, сделанных по ее поводу, оправдана и обоснована¹. Что стало истинной причиной отречения от не разработанной до конца концепции, к сожалению, неизвестно. Возможно, это – яростная критика², которая обрушилась на Харта со стороны, прежде всего, философского сообщества и которая вынудила его ретироваться, оставив оппонентов без комментариев и без повода для дальнейших дискуссий.

¹ *Hart H.L.A. Punishment and Responsibility. Essays in Philosophy of Law. Oxford: Oxford Clarendon Press, 1968. P. 6.*

² Вот лишь некоторые: *Geach P.T. Ascriptivism // Philosophical Review. 1960. LXIX. P. 221–225; Pitcher G. Hart on Action and Responsibility // Philosophical Review. 1960. LXIX. P. 226–235; Davis P.E. “Action” and “Cause of Action” // Mind. 1962. Vol. 71, № 281. P. 93–95; Yolton J.W. Act and Circumstance // The Journal of Philosophy. 1962. Vol. 59, № 13. P. 337–350; Hall J. Analytic Philosophy and Jurisprudence // Ethics. 1966. Vol. 77, № 1. P. 14–28.*

В этой работе мы предпримем достаточно амбициозную и самоуверенную попытку реабилитировать аскриптивную концепцию Харта перед лицом критиков за счет тщательного анализа аскрипций в контексте теории речевых актов и изучения и фиксации их лингвистических аппликаций в языке права. Это позволит нам не только защитить идею Харта, но, прежде всего, завершить его методологический проект, доведя его до логического завершения.

Основным предметом исследования в *Приписывании ответственности и прав* является ответ на вопрос, как подвергнуть анализу понятие человеческого действия? (с. 159) А поскольку примеры из юридической практики лучшим образом позволили Харту подтвердить обоснованность некоторых своих выводов, поэтому он начинает свой анализ с предположения о существовании особого вида высказываний, основная функция которых состоит не в описании конкретных ситуаций, а в выражении правовых требований и в юридической квалификации событий, состояний и действий, придающей природным и социальным явлениям юридическое значение.

Ответ Харта состоит в том, что данный анализ возможен только при правильной интерпретации употребления глагола «делать», так как использование этого глагола в настоящем и будущем времени *дескриптивно*, однако в прошедшем времени, как в высказывании «Это он сделал», он используется главным образом *аскриптивно*. Это допущение позволяет Харту утверждать, что и традиционный (корреляция «действия» и «намерения» как ментального события) и современный (связь физических движений и последствий выбора способа поведения) анализ понятия человеческого действие некорректен, потому что он нацелен на определение понятия через формулирование необходимых и достаточных условий его применения¹. Сказать «*X* выполнил действие *Y*» с точки зрения и традиционного, и современного анализа – значит сказать нечто, что может быть выражено категорическими суждениями, описывающими, соответственно, движение тела *X* и его психическое отношение к содеянному. Харт считает логику этого

¹ Davis P.E. "Action" and "Cause of Action" // Mind. 1962. Vol. 71, № 281. P. 93.

анализа ложной, потому что предполагается, что понятие «человеческое действие» может быть определено только через дескриптивные высказывания, касающиеся отдельного индивида. Поэтому дескриптивные высказывания не пригодны для анализа предложений типа «Это он сделал». По своей сути понятие «человеческое действие», по мнению Харта, *существенно* не дескриптивно, но аскриптивно; оно определяется посредством исключений, а не посредством множества необходимых и достаточных условий, физических или же психологических. (С. 179)

Как мы видим, представления Харта об аскриптивной форме правовых высказываний в немалой степени сформированы на основе концепции «перформативов» Дж.Л. Остина и «логического бихевиоризма» Г. Райла¹. Используя идею Остина о том, что с помощью перформативов реализуются юридические акты, Харт разрабатывает понятие «аскрипции» как специфической формы правовых высказываний, позволяющих выражать сущность социальных феноменов в языке юридических терминов. Поскольку указанное понятие «аскрипции» становится основой для построения Хартом правовой онтологии, он опирается также на аргументацию Райла в пользу «логического бихевиоризма», согласно которому анализ ментальных состояний возможен через внешнее поведение субъекта². Из этого следует, что философский анализ человеческого поведения в правовой сфере возможен только посредством допущения *аскриптивного характера* у правовых высказываний, с помощью которого выражаются юридические акты, возлагается ответственность за действия и в широком смысле *приписывается* юридическое значение эмпирическим фактам³.

Оценивая вклад Харта в развитие нового направления в юриспруденции, University College, Oxford, где он проработал в должности профессора юриспруденции с 1952 по 1969 год, учредил в 1985 году ежегодную лекцию *The H.L.A. Hart Lecture in Ju-*

¹ Афонасин Е.В., Дидикин А.Б. Философия права. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2006. С. 22–24.

² Райл Г. Понятие сознания. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 13.

³ Более подробный анализ аскриптивного подхода Харта к философско-правовой проблематике содержится в третьей главе.

risprudence and Moral Philosophy, прочитать которую приглашались выдающиеся правоведы XX века, такие как Дж. Роулз, Дж. Файнберг, Т. Оноре, Т. Нагель, Дж. Раз, Н. МакКормик, Дж. Финис, Дж. Колман и др. В 1992 году после смерти Харта лекция была переименована в *The H.L.A. Hart Memorial Lecture*. И с этих пор она стала еще более популярной, поскольку получить приглашение прочитать лекцию имени выдающегося философа и теоретика права XX века – значит получить признание академического сообщества своих научных достижений.

Кроме того, в 2002 году The Oxford Centre for Ethics and Philosophy of Law учредил ежегодную научно-исследовательскую стипендию *H.L.A. Hart Visiting Fellowship* на поддержку исследований в сфере философии этики, политической философии и философии права. 27–28 июля 2007 года по инициативе The Cambridge Forum for Legal & Political Philosophy и при поддержке Британской Академии на базе Faculty of Law, Cambridge University прошла международная научная конференция *The Legacy of H.L.A. Hart: Legal, Political, and Moral Philosophy*, посвященная столетию со дня рождения философа, по итогам которой был издан сборник статей участников конференции с одноименным названием¹.

Таким образом, начиная с середины XX века философское осмысление и критика идей Харта образуют основное содержание и характер дискуссий в современной англо-американской философии права. Как выразился Э.М. Оноре, близкий друг и коллега Харта по Оксфорду, «...[Харт] был наиболее читаемым британским философом права двадцатого столетия, а его творчество продолжает оставаться в центре дискуссий»². Или, как отмечает Н. МакКормик, творчество Харта и в качестве стартовой площадки для нового исследования, и в качестве мишени для критики или опровержения, и в качестве источника вдохновения, сохраняет свою актуальность для большей части того, что наиболее продуктивно и привлекательно в современной теории и философии права³. Действительно, в современной зарубежной литературе достаточно сложно найти науч-

¹ *The Legacy of H.L.A. Hart: Legal, Political, and Moral Philosophy*. Eds. Matthew Kramer, Claire Grant, Ben Colburn, and Antony Hatzistavrou. Oxford: Oxford University Press, 2008. 376 p.

² См.: <http://www2.law.ox.ac.uk/jurisprudence/hart.htm>

³ *MacCormick N. H.L.A. Hart. Second Edition*. Stanford: Stanford University Press, 2008. P. 214.

ное исследование, которое не опиралось бы на теорию Харта или не критиковало бы ее. А его монография *Понятие права*, которая принесла ему всемирную известность, стала самой авторитетной и часто цитируемой работой по современной теории и философии права.

1. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

1.1. СПЕЦИФИКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ: ЯЗЫК И МЕТОД

Актуальность обращения к исследованию аналитической философии права обуславливается не только сложностью идентификации этого, действительно, специфического направления в рамках традиционной юриспруденции, но и проблемами закрепления онтоэпистемологических оснований и следствий этой формы правовой рефлексии. Однако, и это не менее важно, несмотря на некоторую самостоятельность и предметную самобытность самой аналитической философии, до сих пор остаются без ответа такие важные с эпистемологической точки зрения вопросы, как, что представляет собой аналитическая философия, каково ее место в системе научного знания и каков ее эвристический потенциал. Эти обстоятельства затрудняют фиксацию внутреннего концептуального единства этой философской традиции. В этом смысле исследование методологических оснований аналитической философии права становится тесно связанным с более общей задачей историко-философского осмысления аналитической философии в целом как феномена интеллектуальной жизни Европы и Америки. Относительная «молодость» этого философского направления актуализирует процесс исторической саморефлексии аналитической философии. Разброс мнений относительно точной дефиниции, времени возникновения, периодизации развития аналитической философии свидетельствует о незавершенности дескрипции феномена, о том, что адекватная интерпретативная схема еще не найдена. Хотя сущность и значение аналитической философии все еще остаются несколько туманными, но вместе с тем кажется возможным «ухватить» (или максимально к этому приблизиться) магистральные пути развития аналитической философии и некоторые безусловные ее достижения, необходимые и достаточные для иррадиации анализа языка на

особую сферу, имеющую отличительные основания, – философию права.

Вместе с тем нельзя не отметить широкой распространенности – особенно в отечественной литературе – определенного канона рассмотрения аналитической философии. Редкий обзор современных дискуссий обходится без упоминания имен Б. Рассела, Л. Витгенштейна, У.В.О. Куайна и др. Любой учебник современной философии сообщает о «логическом позитивизме», «ранней и поздней философии Витгенштейна», «лингвистическом повороте». Уверенно утверждается, что перечисленным направлениям свойственны сциентизм, антипсихологизм, аисторичность, антиметафизическая установка, опора на метод логико-лингвистического анализа и т.д. Такая точка зрения является результатом анализа и генерализации большого количества материалов. Однако это, по сути, только частный результат, описывающий один из ключевых этапов в истории аналитической философии. К сожалению, он часто становится шаблоном для оценки *всей* аналитической философии, что способно существенно исказить картину ее развития, привести к противоречиям между интерпретативной схемой и фактами. Поэтому для успеха историко-философской работы необходимо значительное расширение области поиска, понимание, что аналитическое движение, очевидно, не сковано рамками указанных замечаний.

Ситуация в современной философии характеризуется практически полным отсутствием диалога между различными направлениями англоязычной философии и философскими школами континентальной Европы. И как следствие этого, считает Д. Фоллесдаль, «аналитическая философия представляет собой практически закрытый мир для феноменологов и экзистенциалистов», хотя «взаимопонимание и даже продуктивный обмен особенно возможны между аналитической философией и феноменологией»¹. Поэтому следует отказаться от демаркационного предрассудка, согласно которому существует кардинальное различие между данными традициями, исключаящее их единство в фундамен-

¹ Фоллесдаль Д. Введение в феноменологию для философов-аналитиков / Логика, онтология, язык. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. С. 158.

тальных вопросах¹. Тем не менее аналитическая философия представляет собой одно из наиболее влиятельных направлений в современной западной философии, предметом исследования которой является язык, а использование логико-семантических методов в его познании способно решить если не все, то большую часть философских проблем. Аналитическая точка зрения исходит из того, что язык обуславливает все сферы многообразной деятельности человека и представляет собой интерес не только в качестве средства передачи некоторого информативного содержания, но и как самостоятельный объект исследования, необходимый компонент любого рационального дискурса. А поскольку аналитическая философия в целом не представляет собой единой теории, принимаемой всеми многочисленными школами философии анализа, то единственной объединяющей аналитиков на начальном этапе развития аналитической философии установкой была уверенность в возможности решения философских проблем с помощью анализа языка, а термин «аналитическая философия» использовался и продолжает использоваться для обозначения разных школ англо- и немецко-язычной философии, воспринявших технику философского анализа («логический атомизм», «логический позитивизм», «логический эмпиризм» и др.)².

К середине XX века, отмечает Дж. Пассмор, англо-американский философский мир был сравнительно небольшим, уютным, замкнутым, в нем было очень мало философских периодических изданий, и писали тогда относительно немного³. Десятилетия спустя в несколько раз выросло число публикуемых книг и стремительно увеличилось количество статей, достигнув уже того предела, при котором историк не может больше надеяться «охватить всю область» в той мере, в какой это было возможно раньше. То, что когда-то было лишь небольшим ручейком, превратилось в широкую реку, а в 1980-е годы эта река разлилась

¹ Борисов Е.В., Ладов В.А., Суворцев В.А. Язык. Сознание. Мир. Очерки сравнительного анализа феноменологии и аналитической философии. Вильнюс: ЕГУ, 2010. С. 6.

² Аналитическая философия: Учебное пособие / Под ред. М.В. Лебедева, А.З. Черняка. М.: Изд-во РУДН, 2006. С. 10–11.

³ Пассмор Дж. Современные философы. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 12.

половодьем. Данная метафора полноводного потока, отмечает Пассмор, несмотря на свою банальность, имеет двойную силу. Во-первых, такой поток отличается не только своей величиной, но и тем, что он соединяет в одно течение прежде разрозненные ручейки, стирает границы, сокрушает ограждения. Именно это и происходит в философии. Сейчас намного трудней, чем прежде, определить, где проходят границы как философии в целом, так и ее отдельных дисциплин. Во-вторых, никто не мог предположить – даже в то время, когда Остин начал читать лекции по теории речевых актов, – что философия «обыденного языка» является разделом лингвистики, как ее понимали профессиональные лингвисты. Однако позже взаимодействие между философией и лингвистикой стало столь значительным, а границы столь нечеткими, что возникли сомнения, не являемся ли мы действительно свидетелями отпочкования еще одной новой науки от философии. Или если не новой науки, то, по крайней мере, видоизмененной лингвистики, содержащей в себе многое такое, что прежде считалось философией. Где заканчивается такая лингвистика, а где начинается философия – далеко не ясно. Однако именно на этой спорной территории по большей части и размещается сейчас та современная философия, которая пользуется наибольшим влиянием¹.

Широкое распространение в современной философской литературе получило определение аналитической философии М. Даммита: «Аналитическую философию в ее разнообразных проявлениях от других школ отличает убеждение, что, во-первых, философское понимание мышления может быть достигнуто через философское понимание языка, и, во-вторых, полное понимание можно достичь только подобным образом»². Даммит считает первым ярким примером проявления подобного убеждения ответ Фреге на кантовский эпистемологический вопрос («Каким образом нам может быть дано число, если мы не в состоянии обладать его представлением или созерцанием?»), изложенный в § 62 *Основположений арифметики*. Ответить на этот вопрос

¹ Пассмор Дж. Современные философы. С. 13–14.

² Dummett M. *Origins of Analytical Philosophy*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1993. P. 4.

Фреге позволяет постулирование *во введении* принципа контекстности как одного из основных методологических правил: «О значении слова нужно спрашивать не в его обособленности, а в контексте предложения»¹. «Слова обозначают нечто только в контексте предложения... Если знак должен обозначать для нас предмет, то мы должны обладать критерием, который всюду решал бы, является ли *b* тем же самым, что и *a*, даже если не всегда в наших силах установить, применим ли этот критерий»². Принцип контекстности говорит, что подлинным смыслом и подлинным значением выражения обладают только в контексте целостного предложения. Иными словами, *принцип* требует рассматривать логическую позицию того или иного выражения только в контексте целостного высказывания. Однако, замечает Даммит, несмотря на то, что принцип контекстности Фреге предполагает, что исследование принимает форму ответа на вопрос, как схватить значение предложения, содержащего соответствующие понятия, то есть форму лингвистического исследования, и нет подтверждения того, что лингвистический поворот провозглашается в *Основоположениях арифметики*, тем не менее лингвистический поворот стал основной «методологической стратегией целой философской школы»³.

Сложно оценить тенденции современной аналитической философии, не принимая во внимание то влияние, что оказала на ее развитие философия до XX столетия. А. Стролл пытается описать это сложное взаимоотношение (современной аналитической философии и философии до XX века) с помощью метафоры «молодое вино в старом бурдюке» (*new wine in old wineskins*), где под «молодым вином» понимается современная аналитическая философия, а под «старым бурдюком» – философская традиция, уходящая корнями в Древнюю Грецию. Однако данная аналогия кажется несколько некорректной, поскольку, если современную философию еще можно сравнить с молодым вином, то традици-

¹ Фреге Г. Основоположения арифметики / Логико-философские труды. Новосибирск: Сиб. универ. изд-во, 2008 С. 139; См. также: Суровцев В.А. Принцип контекстности: к вопросу о генезисе // Методология науки. Вып.3: Становление современной научной рациональности, 1998. С. 179–185.

² Фреге Г. Основоположения арифметики. С. 197–198.

³ Dummett M. *Origins of Analytical Philosophy*. 1996. P. 22.

онную философию со старым бурдюком нельзя. Поэтому, отмечает Стролл, эту сложную взаимосвязь было бы лучше описать при помощи так называемой системы «солера»¹. Система «солера» – это испанский метод выдержки крепленых вин: дубовые бочки, на 5/6 заполненные вином, складывают друг на друга в форме пирамиды. Самый нижний ярус называется «солера» (основание), те, что выше, – «криадера» (ясли). В верхних бочках находятся самые молодые вина, в нижних – самые старые. Раз в год вино из нижнего яруса разливают по бутылкам, забирая не более одной трети бочки и восполняют объем за счет более молодого напитка из следующего яруса, и так далее до самой вершины. Таким образом вина различной выдержки смешиваются в процессе созревания, и благодаря этому качество, вкусовые и ароматические характеристики каждого конкретного хереса остаются стабильными и неизменными. Действительно, аналогия с системой «солера» позволяет более удачно описать влияние традиционной философии на развитие современной аналитической философии. С одной стороны, традиционная философия является *основанием* для развития современной, с другой стороны, *молодая* философия не только сохраняет «вкусовые и ароматические характеристики» *старой* философии, но также восполняет ее объем.

Таким образом, аналитическая философия – это не просто одна из философских систем, но совокупность многообразных течений в рамках современной философии, и определить единообразно эти течения в ракурсе одного направления весьма непросто. Общим условием, которое позволяет объединить всю эту совокупность под единым наименованием «аналитическая философия», считается наличие некоторого стиля аргументации и письма в качестве рабочего способа философствования, влияющего на постановку целей и задач философии. Аналитическая философия не поддается определению, поскольку, указывает А.П. Мартинич во введении к *Companion to Analytic Philosophy*, она не является простым набором доктрин и не ограничивается только предметом своего исследования. Аналитическая философия больше, чем метод, это – способ решения проблем; аналитическая философия есть сово-

¹ *Stroll A. Twentieth Century Analytic Philosophy. New York: Columbia University Press, 2000. P. 4–5.*

купность методов, обладающих семейными сходствами¹. И это семейное сходство, считает В.А. Суровцев, можно определить по ряду параметров, которые текучи и изменчивы ввиду исторической изменчивости приоритетов в рамках философских предприятий самого аналитического движения. Поэтому выделение параметров, по каким тот или иной текст характеризуется как принадлежащий аналитической традиции, грешит либо слишком большой степенью общности, либо, наоборот, слишком узко. В последнем случае под аналитической философией понимают то, что более или менее соответствует тому, что делает Б. Рассел, Дж.Э. Мур, Л. Витгенштейн или У.В. Куайн². Под вторым смыслом, по-видимому, понимается относительная самостоятельность течений в рамках аналитической философии, но объединенных единым методологическим арсеналом и общностью эпистемологических целей.

Тем не менее можно выделить параметры, по которым аналитическая философия обычно определяется как особое философское направление, которое рассматривается как главенствующее в современной западной философии. Дискуссионным остается вопрос о параметрах, допускающих объединять направления аналитической философии под одним названием и позволяющих рассматривать их как хоть и различные, но все же принадлежащие к одной и той же философской традиции, и критериях отбора предложенных параметров на предмет их релевантности и достаточности. Эти параметры задают «семейное сходство» определенных текстов, которое, считает В.А. Суровцев, как правило, определяется *топически, генетически, тематически и методически*³.

Топический параметр определяется тем, что обычно аналитическую философию связывают с англоязычными странами в противовес феноменологии, экзистенциализму и структурализму, которые превалируют в континентальной Европе. Такая

¹ Martinich A.P. Introduction in "A Companion to Analytic Philosophy" / ed. by A.P. Martinich and David Sosa. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. P. 4.

² Суровцев В.А. Аналитическая философия: всеобщее и нюанс // Вопросы философии. 2010. № 8. С. 23.

³ Суровцев В.А. О методах аналитической философии / Аналитическая философия: проблемы и перспективы развития в России. СПб.: Издательство философского факультета СПбГУ, 2012. С. 74.

расстановка сил достаточно точно характеризует вторую половину XX и начало XXI в. Действительно, подавляющее большинство текстов аналитической философии написаны на английском языке, и подавляющее большинство англо-американских философских текстов являются аналитическими.

Однако так было не всегда. Первоначально аналитическая философия складывалась отнюдь не как англо-американская философия, это была, прежде всего и по преимуществу, континентальная философия. Философы, которые считаются провозвестниками аналитической философии в XIX в., – а это создатель современной символической логики Фреге, один из основоположников феноменологии Brentano, предвестник современной научной методологии Больцано, – отнюдь не были англичанами, но в их трудах уже прослеживаются все основные темы, характерные для аналитической философии. Кроме этого источника, в становлении аналитической философии определяющую роль играл ряд интеллектуальных движений континентальной Европы, характерных для 20–30-х годов прошлого века. Здесь значительный вклад в аналитическое движение до Второй мировой войны был сделан австрийскими, немецкими и польскими философами (имеются в виду ранний Витгенштейн, Венский кружок, Берлинское общество научной философии, Львовско-Варшавская школа).

Развитие аналитической философии на континенте было прервано известными событиями мировой истории. Следует отметить, что в последние десятилетия этот перерыв в развитии аналитической философии в континентальной Европе преодолевается. Разные типы философствования больше не определяются географическими границами. Так, например, в Германии течение многих лет В. Штегмюллер стоял почти особняком среди немецких философов, продолжая карнаповские идеи. Но в 1960-е годы немецкоязычный мир открыл для себя своих же соотечественников – Фреге, Витгенштейна, Поппера, Brentano, Мейнонга и венских позитивистов. Более того, он открыл Пирса, Куайна, Остина и др. Хотя влияние многих «континентальных» философов значительно глубже ощущается в социальной теории и в литературной критике, находящихся в вечном поиске подкрепляющей их теории, нежели в самой «англо-американской» философии, есть немало географически «англо-

американских» факультетов (например, в англоязычной Канаде), где Гегель, Гуссерль и Хайдеггер значат больше, чем Юм, Фреге и Куайн. Больше уже не считается дурным тоном одобрительно писать о Гегеле или даже о Хайдеггере, не говоря уже об их последователях в герменевтике. И хотя все еще повсеместно соблюдается наставление Рассела сосредоточиваться на «постепенных, детальных, верифицируемых результатах», многие «англо-американские» философы начали писать смелее и с большим размахом. Так что, заключает Пассмор, границы между «англо-американской» и «континентальной» философией нарушаются и с той и с другой стороны¹.

Что касается *генетического* параметра, в характеристике аналитической философии как англо-американской часто пытаются увидеть генетическую преемственность, поскольку многие темы аналитической философии заданы классическим английским эмпиризмом. Это утверждение хотя и верно в некотором отношении, но в своей общности крайне сомнительно, поскольку, как считают сами представители аналитической философии, у истоков аналитического движения стояли не только Т. Гоббс, Д. Локк, Д. Беркли, Д. Юм, но и Аристотель, Платон, средневековая схоластика, Р. Декарт, Г. Лейбниц, И. Кант и др.².

В обоснование размытости генетического параметра приведем и тот пример, что признанные лидеры англоязычной аналитической философии Рассел и Мур свои первые работы посвятили анализу философских взглядов отнюдь не английских эмпириков, а Лейбницу и Канту. Но при таком раскладе границы генетической преемственности полностью размываются. Что тогда можно сказать об Э. Гуссерле, основоположнике феноменологического движения, одним из основных источников которого как раз и был английский эмпиризм XVIII в. Видимо, генетический источник аналитической философии, отмечает В.А. Суворцев, нужно искать гораздо ближе.

В качестве такового следует указать на работы немецкого математика и философа Фреге, в которых создавалась новая сис-

¹ Пассмор Дж. Современные философы. С. 20–21.

² См., например: Райл Г. Феноменология и лингвистический анализ / Логика, онтология, язык. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. С. 174–184.

тема логики, на исследования Рассела, где достижения новой логики применялись к анализу онтологических и эпистемологических представлений, на критические работы Мура, в которых традиционные философские взгляды рассматривались с точки зрения обыденного словоупотребления, и на взгляды раннего Витгенштейна, где проблема демаркации научного и вненаучного знания понималась как проблема установления границ осмысленности языка. Практически все ходы мысли достаточно разнородных ответвлений аналитической философии можно *a posteriori* обнаружить у этих авторов. Однако и сами они возникли не на пустом месте. Действительно, многие идеи Фреге, Рассела, Мура, Витгенштейна своим источником имеют те взгляды мировой философии, где во главу угла ставилась точность и обоснованность хода доказательства¹.

Несмотря на родство с классической постановкой вопросов, основоположники аналитической философии изменили угол зрения на философские проблемы, которые отныне начинают рассматриваться как проблемы употребления языка, задавая тем самым *тематическое* своеобразие данного способа философствования. Данный ход мысли, получивший наименование «лингвистического поворота», определяет образ действий всей аналитической философии. Сам термин «лингвистический поворот», хотя и был впервые употреблен Г. Бергманом, но обоснован и расширен Р. Рорти в одноименной книге, в которой он как редактор собрал труды философов, посвященных лингвистическому повороту, а также дал развернутую критическую оценку этому явлению в аналитической философии в своем предисловии к данной книге.

Для Бергмана философия – это своего рода лингвистическая рекомендация, что позволяет ему утверждать, что «все лингвистические философы говорят о мире, имея в виду язык. Это и есть лингвистический поворот, фундаментальный первый шаг, метод, с которым согласны философы идеального и обычного языка. В равной мере важно то, с чем они не соглашаются, а именно: что такое “язык” и что делает его “адекватным”. Очевидно, что в этой ситуации можно развернуться. Но зачем это нужно? Не будет ли

¹ Суровцев В.А. Аналитическая философия: всеобщее и нюанс. С. 26.

это простой скучной каруселью?»¹. И далее: «Чем именно является лингвистический поворот или, говоря метафорически, как его правильно совершить, – вопросы спорные. То, что он должен быть совершен, так или иначе, является общей теорией, вытекающей из распространенного убеждения, что язык тесно связан с философией, и связь эта существенно отличается от связи языка с любой другой дисциплиной»².

Аналитическое движение характеризуется многообразием онтологических и эпистемологических представлений, лежащих в основании ее достаточно разных ответвлений. В рамках аналитической философии можно найти все, например, платонизм (лингвистический платонизм Фреге), эмпиризм (логический эмпиризм Венского кружка), метафизику (дескриптивная метафизика Стросона), натурализм (натурализованная эпистемология Куайна), прагматизм (аналитические концепции значения Дэвидсона и Крипке), реализм (внутренний реализм Патнема, формальный реализм В.А. Ладова), холизм (онтологическая относительность Куайна) и т.д. Но несмотря на инвариативность различных подходов к исследованию языка и его структурных компонентов, аналитическую философию объединяет общий методологический мотив. Именно этот методологический мотив, понимаемый как исследование различных языковых практик, сказался на тематическом своеобразии. В аналитической философии главное внимание уделяется двум темам: во-первых, исследованию роли языка в мышлении и коммуникации и, в частности, проблеме того, каким образом обеспечивается значение языковых выражений; во-вторых, изучению логики исследования и методологии познания настолько, насколько они должны иметь дело с оценкой различных техник и условий достижения истинных убеждений и обоснованных утверждений.

Таким образом, можно заключить, что представители аналитической философии, по существу, пытались ответить на два основных вопроса:

1. Какова природа философии и какие методы философствования должны приниматься в качестве наиболее адекватных?

¹ *Bergman G. Logic and Reality* Madison: The University of Wisconsin Press, 1964. P. 177.

² *Bergman G. Logical positivism, Language, and Reconstruction of Metaphysics* / Rorty R. (ed.) *The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method*. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. P. 64–65.

2. Возможно ли достичь заметного прогресса на путях анализа языка и науки?

Методический параметр заключается в том, что в качестве отличительной черты аналитической философии часто указывают на ее особое внимание к средствам самого философствования. Эта черта связана с философским рассмотрением источников формальной логики в ее современных формах и особыми способами, в которых эти источники могут быть применены к решению философских проблем. При этом главное – в доказательности результата, то есть в достоверности процесса аргументации с вниманием к тонкостям процедуры доказательства того или иного тезиса. Иными словами, как метко выразился Райл, «каждый подлинный исследователь проводит свои исследования не столько согласно какой-то парадной методологии, но способом, на котором его пальцы, так сказать, узнали в каждодневном труде, как получить результаты»¹.

В любом случае, утверждает А.С. Колесников, осмысление перспектив аналитической философии, которая испытывает огромное влияние радикальных изменений в философии, культуре и науке XX века – актуальное и полезное занятие, раскрывающее последовательное выдвижение в центр обсуждения философии логики, эмпирической эпистемологии логических позитивистов, философии языка и философии сознания, политической философии, трансцендентальной метафизики и т.п., когда сам анализ языка ставится в зависимость от развития науки, онтологии и эпистемологии².

1.2. МЕТОДЫ ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЯЗЫКА

Таким образом, как мы смогли убедиться, аналитическая философия представляет собой совокупность методологически

¹ Райл Г. Феноменология и лингвистический анализ / Логика, онтология, язык. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. С. 183.

² Колесников А.С. Роль аналитической философии в истории философии // Аналитическая философия: проблемы и перспективы развития в России. СПб.: Издательство философского факультета СПбГУ, 2012. С. 29.

ориентированных практик исследования проблем логики, эпистемологии, онтологии и философии науки. Особую категорию концепций аналитической философии составляют концепции коммуникации и разрабатываемые в их рамках методы прагматической интерпретации. Однако в целом методы современной лингвистически ориентированной философии могут быть классифицированы следующим образом¹.

1. Метод трансгрессии. Этот метод заключается в переносе понятий и методов одной системы знания на другую. В качестве типичного примера здесь можно привести философскую деятельность Фреге, который, применив математические понятия и методы, существенно изменил ракурс рассмотрения философских проблем. Так, применение математического понятия функции позволило ему реформировать формальную логику, представив ее в виде исчисления, подобного математическим теориям. На этом же основании возникла возможность трансформации классических философских проблем, например, проблемы универсалий. Универсалии стали рассматриваться не как значения общих имен, поскольку общие имена стали трактоваться как функциональные выражения, значения которых существенно отличаются от значений собственных имен. Таким образом, проблема перешла из плоскости онтологического вопроса о существовании общего в плоскость вопроса о различии денотативных функций разных групп выражений.

2. Метод контекстуального перевода. Этот метод заключается в анализе выражения в рамках контекста его употребления. В этом случае контекст демонстрирует, что обособленное от него выражение само по себе не выполняет денотативную функцию. Типичным примером подобного анализа является теория определенных дескрипций Б. Рассела. Выражения вида «тот, который» должны трактоваться не как собственные имена, а как описательные выражения, имплицитно указывающие на существование и единственность предмета, которому данная фраза приписывает определенные свойства. Такой подход позволяет решить проблемы тождества, функционирования пустых имен, косвенных способов употребления выражений и т.п.

¹ Суровцев В.А. О методах аналитической философии. С. 78–79.

3. Метод концептуального анализа. Этот метод предполагает выявление концептуального ядра термина путем сравнения различных контекстов его употребления. Этот метод характерен для работ Мура, который не ставит задачу явных определений философских терминов, но скорее выясняет осмысленность философских вопросов, в которых эти термины фигурируют.

4. Метод экстраполяции. Этот метод предполагает распространение методов анализа одних типов дискурса на другие типы дискурса. Примером может служить классический анализ вымышленного дискурса, предпринятого Хартом, который распространяет методы классической логики на вымышленный дискурс вроде сказки. При этом можно продемонстрировать, что логическая форма выражений, функционирующих в рамках научного дискурса, отличается от той формы, которую предполагает фантазия.

5. Метод дериваций. Этот метод предполагает отделение базы теории от ее производных с последующим варьированием производных. Типичным примером здесь может служить реформа теории типов, предпринятая Рамсеем. На основании различия решаемых проблем он в рамках теории типов Рассела отделил основу этой теории, сведя ее к простой теории типов, а остальные добавления путем варьирования заменил собственной разветвленной теорией, построенной на иных основаниях. Таким образом, он достиг разделения в рамках формальной теории логической и лингвистической составляющих.

6. Метод редукции. Этот метод заключается в сведении одного уровня знаний к другому. Типичный пример применения такого метода предоставляет Айер, пытающийся свести теоретический уровень знания к эмпирическому. Это позволяет разделить в рамках системы знания базовый, нередуцируемый уровень и методы, с помощью которых выводятся последующие уровни.

7. Метод «семантического восхождения». Этот метод основан на различении и сравнении автономного и гетеронимного употребления выражений. В частности, Куайн использует этот метод для решения проблем, связанных с определением предиката «истинный».

8. Метод предела стандартной интерпретации выражения. В этом случае моделируется ситуация, при которой термин перестает выполнять стандартную денотативную функцию в принятых моделях. Примером применения этого метода могут служить эксперименты Гудмена с термином «зелубое» или Патнэма с термином «вода» на гипотетическом двойнике Земли.

9. Метод фальсифицирующей модели. Этот метод предполагает построение такой модели для рассматриваемой теории, в которой исходные посылки данной теории выполняются, а следствия приводят к противоречию. Примером построения таких моделей могут служить известные конструкции «мозги в бочке» Патнэма и «китайская комната» Серла.

10. Метод демаркации. Этот метод предполагает определение границ осмысленных выражений и выделение критериев, отличающих осмысленные выражения от бессмысленных. В наибольшей степени этот метод соответствует философской позиции раннего Л. Витгенштейна и, отчасти, представителей Венского кружка. В этом случае ставится задача определения формы выражений, которая демонстрировала бы границы осмысленного и бессмысленного.

11. Метод «языковых игр». Этот метод предполагает конструирование гипотетических коммуникативных ситуаций, при которых демонстрируется, что одно и то же выражение в зависимости от употребления изменяет смысл. Этот метод характерен, прежде всего, для философии позднего Витгенштейна и его последователей.

12. Метод различия форм семантической валидности речевых актов, таких как объективная истинность, субъективная правдивость, нормативная правильность, метафорическая эпифания и др. Метод может рассматриваться как модификация метода «языковых игр», однако преследует специфическую цель – различение форм конституирования прагматического смысла в различных группах языковых игр. Метод применяется в теории речевых актов Серла и различении форм интерпретации у Дэвидсона.

13. Метод «вычленения» перформатива. Применение этого метода позволило Остину различить высказывания, которые говорятся, и высказывания, которые делаются, называя пер-

вые – констативными (декларативными, или дескриптивными), а вторые – перформативными. Следствием этого явилось утверждение, что в отличие от констативных, перформативные высказывания не могут быть ни истинными, ни ложными; они используются для осуществления действия, то есть перформатив представляет собой одновременно и действие и высказывание.

14. Метод концептуального каркаса. Применение идеи концептуального каркаса или схемы, образующей ту или иную когерентную систему значений языковых выражений, позволило Куайну, с одной стороны, выдвинуть возражения против верификационной теории значения и остенсивных определений, а с другой стороны, выступить с критикой дистинкции аналитические/синтетические суждения.

Однако представленная классификация методов аналитической философии страдает, по-видимому, некоторой ограниченностью, хотя и претендует при этом на универсальность, поскольку проблема классификации состоит в том, что, выражаясь словами Фоллесдаля, «не существует принципа классификации». Хотя представленная цитата относилась к классификации философских течений, которые, действительно, достаточно сложно отделить друг от друга и адекватно охарактеризовать, но ее кажется возможным распространить на предложенную выше классификацию методов. В подтверждение скепсиса в отношении классификации Фоллесдаля приводит замечательный пример из «некой китайской энциклопедии», описанной Х.Л. Борхесом: «Животные делятся на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) буйствующих как в безумии, к) неисчислимых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой, м) прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся мухами». Проблема в этой китайской энциклопедии состоит в следующем: не существует принципа классификации или, по крайней мере, так кажется людям нашей культуры. Классификация философских течений страдает от двух проблем. Во-первых, нет принципа классификации. Во-вторых, остается неясным, каковы те различные традиции,

которые предполагается классифицировать, как могут они быть определены или, по крайней мере, приблизительно охарактеризованы? Эта проблема особенно явно выражена в отношении нашей темы – аналитической философии. Что же она такое?¹

Кроме того, есть еще одна важная, на наш взгляд, эпистемологическая сложность в классификации методов. Предмет отрасли научного знания специфицирует методы его исследования, то есть определяет релевантные средства, подлежащие применению. Но тогда возникает проблема, которая сводится к тому, что, прежде чем приступить к познанию предмета, необходимо *уже* наличие неких методов, с помощью которых будет производиться исследование, но с другой стороны, сам предмет и процесс исследования имплицитно содержат (или специфицируют), а возможно, даже и вырабатывают необходимые методы. Подобное противоречие можно обнаружить при исследовании философии позднего Л. Витгенштейна. Считается, что Витгенштейн ввел термин «языковая игра» в «Философских исследованиях» и чуть ранее – в «Коричневой книге» для описания языка как системы конвенциональных правил, в которых участвует говорящий. Также принято считать, что «языковые игры» стали методом, специфицирующим философию позднего Витгенштейна и его последователей. Языковые игры, считает М.С. Козлова, стали своеобразным аналитическим методом (совокупностью приемов) прояснения языка, высвечивания его функций, работы. Он мыслился как поиск выходов из разного рода концептуальных тупиков, которыми изобилует философская традиция².

Мы можем попробовать отвлечься от многообразия использования термина «лингвистический поворот» и сосредоточиться на его основной идее, что позволит несколько прояснить рассматриваемый вопрос. Однако, по-видимому, у нас не получится более удачно обозначить аналитическую философию,

¹ Фоллесдаль Д. Аналитическая философия: что это такое и почему этим стоит заниматься? / Язык, истина, существование. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 226.

² Козлова М.С. Идея «языковых игр» / Философские идеи Людвига Витгенштейна. М., 1996. С. 5–25.

чем через это понятие. Сегодня не вызывает сомнений, что идея устранения путаницы и противоречий, возникающих при использовании нами языка, в истории аналитической философии сыграла важную роль. Ностораживает то, таким достаточно туманным понятием можно удачно обозначить целое движение, во-первых, потому что термин «лингвистический поворот» имплицитно подразумевает слишком большое количество разнообразных методов, а во-вторых, потому, что многие философы, которые относят себя к аналитической традиции, вряд ли согласятся рассматривать эту идею в качестве характерной черты их философской деятельности. Думается, что было бы более правильным рассматривать идею лингвистического поворота как важный этап истории аналитической философии, поскольку сегодня анализ языка является лишь одним из многих инструментов, доступных аналитической философии. Несмотря на то, что многие направления в рамках самой аналитической философии имеют свои истории развития, что затрудняет ее предметную и методологическую экспликацию, тем не менее аналитическую философию как слишком неоднородное движение можно охарактеризовать по этому одному свойству.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВНАЯ ТЕМА ФИЛОСОФИИ ПРАВА

2.1. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 40–50-х годах XX века многие аналитические философы начали проявлять пристальный интерес к темам, имеющим особое значение для юриспруденции, потому что правовая система с ее избытком понятий и методами их разъяснения представляла собой ту испытательную площадку, на которой можно было проверить, уточнить и обосновать определенные философские аргументы. В частности, понятие «правило» и логические особенности выражений, требующих или использующих правила, являлись центральными темами философских дискуссий, инспирированных Дж.Л. Остином на заседаниях Аристотелевского общества. Отдельными аналитическими философами, такими как поздний Л. Витгенштейн, Г. Райл, П.Ф. Стросон, Г.Э. Энском, Дж. Серл и др., довольно детально было исследовано понятие «действие», результат которого важен для прояснения «намерения», «мотива» и «воли», часто используемых в теории уголовного права. Анализ функций имен и дескрипций Г. Фреге и Б. Рассела оказался релевантным юридическим проблемам, имеющим отношение к толкованию права, в то время как выявление того, что одно высказывание или правило может *относиться* к другому высказыванию или правилу самыми различными способами, способствовало более углубленному пониманию структуры и взаимосвязи правовых систем и отношений между правовыми и моральными правилами. Наконец, интерес к типам рассуждений, которые, как, например, в сфере морали и права, могут быть рациональными, не будучи при этом окончательными, и к способам применения понятий, не допускающих жестких определений и имеющих «открытую структуру» (open texture), содей-

ствовал избавлению от идеи, что дедуктивное доказательство полностью исчерпывает идею логического рассуждения¹.

Развитие западноевропейской философско-правовой мысли в первой половине XIX века происходило в условиях формирования философии позитивизма и процесса дифференциации политико-правовых знаний о закономерностях функционирования правовой действительности. Особенности становления классического правового позитивизма в Великобритании и других европейских странах, отмечает А.Б. Дидикин, обусловлены действием «внешних» и «внутренних» факторов. «Внешние» факторы появления позитивистской правовой традиции связаны с динамикой социально-исторического развития европейских государств. Это, прежде всего, тенденции либерализации монархических режимов, роста политической значимости не только либеральных ценностей, но и «конституционализма» как особого вида общественного устройства, связанного с вовлечением различных социальных групп в политические процессы. Поскольку подобные явления предполагали реформирование государственных органов, совершенствование судебной системы и отражение соответствующих властных решений в нормах законодательства, результатом становится рост потребности юридической практики и спроса на квалифицированных специалистов в правовой сфере. Однако ко второй половине XIX века в философско-правовых учениях и юриспруденции по-прежнему преобладали идеи «естественного права» – априорные и рационалистические представления о человеке как политическом существе, основанные, как правило, на доминирующей системе ценностей в конкретных государствах. В этом смысле «внутренними» факторами стали необходимость обособления юридической сферы в самостоятельную область научного знания и общественной практики, создания специальных юридических методов, которые могли хотя бы внешним образом обеспечить «автономию» правового мышления и юридического сообщества. Отсюда, по-видимому, и популярность позитивистских воззрений на уровне практической деятельности. Кроме того, правовой позитивизм вводит правовое

¹ *Hart H.L.A. Philosophy of Law and Jurisprudence in Britain (1945-1952) // The American Journal of Comparative Law. 1953. Vol. 2, №. 3. P. 364.*

мышление в рамки эмпирических методов и приемов исследования, связанных с анализом многочисленных норм законодательства и их истолкования органами государственной власти, обладающими правотворческими либо судебными полномочиями. Поскольку юридический анализ изначально ориентирован на формально-логическое истолкование правовой нормы, реальность права как социального феномена стала приобретать эмпирический и нормативный характер, обусловив тем самым интерпретацию права как совокупности правовых норм, предусмотренных действующим законодательством и содержащих властные предписания, исполнение которых обеспечивается мерами государственного принуждения. Так как задачей правоведа становилось лишь описание содержания нормативно-правовых актов (теоретическое осмысление реального процесса толкования и оценки правовых норм предполагало установление «догмы права», то есть подлинного содержания властного предписания), поэтому позитивистский метод анализа правовых источников под влиянием философских концепций «первого позитивизма» и с учетом специфики положений законодательства стали именоваться *формально-догматическим методом*. Этот метод становится основным для теорий «аналитического» правового позитивизма и к началу XX века «конкурирует» с идеями «социологического позитивизма» и попытками применения социологических методов к анализу реальных правовых отношений и функционированию правовых институтов¹. Таким образом, ко второй половине XX века в философии права сосуществовали различные версии правового позитивизма и теорий «естественного права». В этот период под влиянием аналитической философии (логического и лингвистического позитивизма) правовые позитивистские воззрения подвергаются значительному усовершенствованию, что наиболее явно находит свое отражение в положениях «аналитической философии права»². Таким образом, для англоговорящей академической среды становится общепринятым утверждение, что возникновение аналитической философии пра-

¹ Афонасин Е.В., Дидикин А.Б. Философия права. С. 8–10.

² См. подробнее: Дидикин А.Б. Формирование аналитической традиции в современной философии права // Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2010. № 4(1). С. 149–165.

ва связывается, прежде всего, с именами Т. Гоббса и И. Бентама, а ее расцвет – с работами британского правоведа Дж. Остина и его последователей.

Однако как в англо-американской философии и теории права, так и в отечественной не различаются такие термины, как «юридический позитивизм», «аналитическая философия права», «аналитическая юриспруденция». Довольно часто в научной литературе эти понятия употребляются как синонимы, что значительно затрудняет идентификацию объектов, которые они обозначают. Думается, что терминологический анализ в данной ситуации необходим. Убедительным в этой связи выглядит замечание Герберта Харта, который считается, пожалуй, самым известным представителем аналитического направления в юриспруденции, о том, что термин «юридический позитивизм», с которым нередко отождествляется аналитическая юриспруденция, так и не получил адекватного определения¹. По его мнению, можно выделить пять значений термина «юридический позитивизм», которые чаще всего встречаются в философии и теории права; причем И. Бентам и Дж. Остин придерживались взглядов, описанных в пунктах (1), (2) и (3), и не разделяли тех, что были описаны в пунктах (4) и (5), а мнение (4), с точки зрения Харта, часто ошибочно приписывалось юристам-аналитикам:

1) представление о том, что право является человеческой командой;

2) представление о том, что нет никакой необходимой связи между правом и моралью или правом, какое оно есть, и правом, каким оно должно быть;

3) представление о том, что анализ юридических концептов стоит осуществлять и отличать от исторических исследований причин или источников права, от социологических исследований отношения права и других социальных феноменов, будь то термины морали, социальных целей, «функций» или чего-то другого;

4) представление о том, что правовая система является «закрытой логической системой», в которой правильные юридические решения могут быть логически выведены из предустанов-

¹ Харт Г.Л.А. Позитивизм и разграничение права и морали // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2005. № 5 (262). С. 112.

ленных правовых норм без ссылок на социальные цели, политику и моральные стандарты;

5) представление о том, что моральные суждения не могут быть обоснованы или подтверждены как суждения о фактах, исходя из рациональных аргументов, доказательств или свидетельств («нонкогнитивизм» в этике).

Пункты (1), (2) и (3), определяющие значение термина «юридический позитивизм», настолько очевидны, что их анализ вряд ли способен пролить свет на понимание исследуемой области. Однако пункты (4) и (5) нуждаются в подробном изучении, поскольку именно эти представления, неразборчиво использующие ярлык «позитивизм» для двусмысленного обозначения каждой из этих теорий, совершенно запутали вопрос о специфике и характере нового (аналитического) направления в современной юриспруденции.

Ясность в эти и подобные вопросы, в некотором смысле, внесла статья Р.С. Саммерса *New Analytical Jurists*¹, опубликованная в ноябре 1966 года и провозгласившая появление «нового» направления в юриспруденции. Эта работа в некотором смысле является знаковой в формировании *новой* традиции в правопонимании, так как в ней впервые в истории философско-правовой мысли была представлена попытка не только достаточно детально описать предметную область этого направления, но и определить его структурные элементы, основные методологические предпосылки и онтологические допущения.

Один из основных оппонентов этого направления – американский правовед Л.Л. Фуллер – в качестве главных причин, в значительной мере повлиявших на появление и формирование мышления «новых» аналитиков, называет два интеллектуальных направления: одно из них – философия обыденного языка, связанная с именем Дж.Л. Остина, другое – философия утилитаризма. Если первое направление Фуллер признает весьма полезным из-за желая выявить и прояснить различия, укорененные в обыденной речи, то второе направление, по его мнению, имеет «фундаментальный недостаток, который искажает соотношение

¹ Summers R.S. The New Analytical Jurists // New York University Law Review. 1966. Vol. 41. P. 861–896.

средств и целей – недостаток, смягченный, но не исправленный в том его варианте, который называют утилитаризмом правил»¹. На самом деле, аналитическое изучение правовых концептов, исследование огромного словарного запаса юриспруденции средствами лингвистической философии, наряду с историческими и социологическими исследованиями, сыграли важную методологическую роль в понимании природы права, что в полной мере отразилось на спецификации предметной области аналитической юриспруденции. Второй тезис Фуллера, важность которого для становления аналитической юриспруденции им ставится под сомнение, по-видимому, основывается на неправильном понимании философии утилитаризма. Харт, оппонировав Фуллеру, указывает, что утилитаристы сочетали со своими требованиями о разграничении права и морали две другие в равной степени известные, но различные доктрины: аналитическое изучение юридических концептов и императивную теорию права, согласно которой право с необходимостью является командой². Несмотря на то, что эти доктрины представляют собой утилитаристскую традицию в юриспруденции, они тем не менее должны различаться. Смешение, игнорирование онтологических характеристик каждого из этих подходов, неспособность увидеть их самостоятельность в исследуемой традиции являлись основными источниками заблуждений.

Итак, деление на «старых» и «новых» правоведов-аналитиков, предложенное Саммерсом в указанной выше статье, имело в середине XX века важное значение, поскольку позволило не только обозначить специфику нового аналитического направления в правопонимании, обусловленную влиянием аналитической философии (особенно философии обыденного языка), но и установить концептуальную взаимосвязь между этими во многом схожими направлениями в юриспруденции. При дальнейшем исследовании мы будем придерживаться именно этого достаточно условного деления (но не противопоставления). Хотя для аналитической философии права XXI века подобная тематизация несколько устарела, однако для своего времени эта стратегия была весьма по-

¹ Фуллер Л.Л. Мораль права. М.: ИРИСЭН, 2007. С. 234.

² Харт Г.Л.А. Позитивизм и разграничение права и морали. С. 111–112.

лезной, ибо она не размежевывала философию права на два противоположных лагеря, но демонстрировала эволюционирование методологии применительно к решению таких важных философско-правовых проблем, как соотношение права и морали, взаимосвязь права и государства, онтологические и аксиологические основания права, понимание природы права и т.д. То, что это не механическое деление, подтверждается тем фактом, что и «старые» и «новые» правоведа-аналитики пытались, по сути, ответить на один и тот же вопрос – Что есть право? А вот каковы были ответы на этот вопрос, это и было основанием или критерием для теоретического обособления этих направлений в различные, на первый взгляд, философско-правовые течения.

Но прежде чем приступить к ответу на этот вопрос, правоведу необходимо «вооружиться» соответствующим методологическим арсеналом. И от того, насколько эффективна будет избранная методология, и будет, в конечном счете, зависеть успех его кампании. В этом смысле кажется неудивительным, что бурное развитие в начале XX века аналитической философии возродило интерес аналитически ориентированных философов к исследованию природы права. Внимание к языку права, анализу структуры и логики правовых норм, анализу содержания нормативного предписания обусловило становление и развитие аналитической философии права, изначально понимаемой в качестве специфического направления самой аналитической философии, а затем – в качестве самостоятельной отрасли научного знания. В одной из своих ранних работ Харт так определяет предметную область аналитической юриспруденции: «...современная [аналитическая] философия не только занимается проблемами обыденного языка, но и *говорит* на нем; и теперь между двумя этими науками [аналитическая философия и юриспруденция] больше не существует барьера из метафизического жаргона технических терминов»¹. Схожую мысль мы обнаруживаем у Дж. Раза в трактовке Дж. Диксон: «Аналитическая юриспруденция занимается объяснением природы права, пытаясь выделить и объяснить те черты, которые делают его тем, что оно есть. Успешная теория права этого

¹ Hart H.L.A. Philosophy of Law and Jurisprudence in Britain (1945–1952) // The American Journal of Comparative Law. 1953. Vol. 2, №. 3. P. 357–358.

типа представляет собой теорию, состоящую из утверждений о праве, которые (1) с необходимостью являются истинными и (2) адекватно объясняют природу права... Я использую выражение “природа права” для обозначения тех существенных свойств, которые должна проявить данная совокупность явлений с тем, чтобы быть правом»¹. Действительно, своей главной задачей аналитическая философия права считала и считает «прояснение» языка, на котором формулируются философски значимые вопросы и утверждения. Достичь этого можно только путем точного определения всех используемых понятий и их соотнесения с эмпирически наблюдаемыми явлениями; в этом смысле суть аналитической философско-правовой традиции можно передать различными оттенками английского слова «intelligibility».

Предметом изучения аналитической философии права XXI века, по мнению Б. Бикса, является, прежде всего, сущность права и природа юридических понятий². Учитывая это обстоятельство, дискуссии, специфицирующие аналитическую философию права, можно разделить на три группы.

1. *Дискуссии о сущности права.* Парадигмальной темой аналитической юриспруденции являются дискуссии вокруг вопроса о сущности права. Несмотря на то, что современные аналитические философы права все еще актуализируют ставший уже традиционным вопрос «Что есть право?», стратегия анализа при этом несколько видоизменилось. Теперь теоретики все острее ощущают значимость и необходимость таких методологических вопросов, как «Чем обоснованы и подкреплены общие и универсальные требования относительно сущности права?», «Является ли “право” общим понятием?». И наоборот, «Может ли общая теория права основываться на той форме концептуального анализа, которая не требует противоречивых онтологических требований (вроде идеи “права” Платона)?». При этом магистральной темой дискуссий тем не менее остается вопрос об отграничении права, как оно есть, от права, каким оно должно быть, то есть вопрос об отграничении права от морали. Кроме того, современ-

¹ Dickson J. Evaluation in Legal Theory. Oxford: Hart Publishing, 2001. P. 17.

² Bix B. On Philosophy in American Law: Analytical Legal Philosophy // Legal Studies Research Paper. Research Paper. 2008. №. 05. P. 1.

ные дискуссии о сущности права тесным образом связаны с дискуссиями об основаниях самого правового позитивизма, как концептуальной теории, пытающейся эксплицировать содержание правовых понятий таким образом, чтобы они были одинаково поняты судьями, юристами и простыми гражданами. Например, методологические споры вокруг понятия «правовой позитивизм» привели к необходимости различения инклюзивного (включающего) и эксклюзивного (исключающего) позитивизма¹. Основание для выделения этих двух видов позитивизма – разделительный принцип, который отрицает, что существует «необходимое частичное совпадение областей права и морали». Иными словами, инклюзивный правовой позитивизм оставляет простор для предположения о том, что в данной правовой системе может (или не может) иметься необходимое частичное совпадение границ между правом и моралью, тогда как эксклюзивный правовой позитивизм не признает саму возможность необходимого частичного совпадения границ.

2. *Дискуссии вокруг анализа юридических понятий.* Аналитические философы права стремятся к более точному пониманию и прояснению того, что понимается под (юридическими) правами, (юридическими) обязанностями, причинностью (в праве), (юридической) ответственностью и другими (юридическими) понятиями. Часто эти вопросы рассматриваются в качестве неотъемлемой части аналитической философии права, их онтологический статус оказывает влияние на правовую действительность; однако они менее известны и редко обсуждаемы теми, кто не разделяет этой философской традиции. Вековым источником неприятностей в аналитической юриспруденции, который заставил многих теоретиков идти по ложному пути, Харт считает то, что часто ставились «неправильного рода» вопросы; и это положение дел, по его мнению, долгое время имело место в аналитических исследованиях природы юридических понятий².

¹ См., например: Полсон С.Л. Сущность идеи правового позитивизма // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2011. № 4(297). С. 32–49; Himma K.E. «Inclusive Legal Positivism» in Jules L. Coleman, Scott Shapiro (eds.) *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Legal Philosophy*. Oxford, 2002. P. 125–165; Himma K.E. *The Instantiation Thesis and Raz's Critique of Inclusive Positivism* // *Law and Philosophy*. 2001. Vol. 20, №. 1. P. 61–79.

² По мнению Харта, к *неправильным* относились вопросы, которые имели форму

3. *Дискуссии о «философских основаниях» различных отраслей права.* Исследование «философских оснований» позволяет в равной степени объяснить и обосновать существующую правовую доктрину, это своего рода «рациональная реконструкция», хотя и на более высоком уровне¹.

Однако будет несколько некорректным приписывать эти дискуссии философии права исключительно XXI веку, и вряд ли подобную постановку вопросов можно считать оригинальной. Поскольку предложенная проблематика всегда была в поле зрения философов права и актуализировалась с разной степенью интенсивности на протяжении всей истории правовой мысли, от Платона и Аристотеля и до наших дней.

Прежде чем приступить к исследованию характера, предметной области и релевантной методологии аналитической философии права, применяемой к познанию правовых явлений «новым» и «старым» направлениями, необходимо сделать ряд важных замечаний. Во-первых, было бы неправильным утверждать, что то, что ново для современной аналитической юриспруденции, ново для философии в целом, ибо большинство новых аналитиков-правоведов придерживались техники, концептуальных различий и идей, уже достаточно известных и популярных в философии, особенно в аналитической философии первой половины XX века. Это подтверждается многочисленными библиографическими ссылками и цитатами в работах новых аналитических юристов на труды выдающихся философов XX века, повлиявших на развитие аналитической философии, таких как Б. Рассел, Дж.Э. Мур, Л. Витгенштейн, Дж.Л. Остин, Г. Райл и др. Поэтому то, что действительно ново, так это то, что экспликация идей аналитической философии в работах по юриспруденции позволила утверждать о появлении новой отрасли научного знания – аналитической философии права². Во-вторых, несмотря на

«Что есть X?» («Что есть *обязанность*?»), поскольку ответ на подобный вопрос предполагал анализ того, что слово означает или подразумевает, игнорируя контекст его употребления. См. подробнее: *Hart H.L.A. Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer // University of Pennsylvania Law Review. 1957. Vol. 105. P. 960–963.*

¹ *Bix B. On Philosophy in American Law: Analytical Legal Philosophy. P. 3–4.*

² См., например: *Hall J. Analytic Philosophy and Jurisprudence // Ethics. 1966. Vol. 77, №. 1. P. 14–28; Hart H.L.A. Philosophy of Law and Jurisprudence in Britain*

то, что работы «новых» аналитиков можно достаточно условно обобщить в рамках одного направления, из этого совсем не следует, что они единодушны в решении специфических философско-правовых проблем. То, что их, в самом деле, объединяет, – это приверженность тому, что многие фундаментальные проблемы права могут быть решены при помощи анализа соответствующего словопотребления, благодаря применению новой методологии аналитической философии языка. И, в-третьих, то, что эти правоведы исследовали основания юридического языка, не означает, что их не интересовали социологические, политические или психологические вопросы. Напротив, значительное внимание ими уделялось не только характеру социальной коммуникации, но и психологическому аспекту поведения и политическому контексту.

Как считает Саммерс, по сравнению с большинством своих предшественников правоведы «нового» толка анализируют более широкий диапазон понятий и выполняют более разнообразные аналитические действия, имеющие весьма существенное отличие¹. Их исследовательское внимание фокусировалось, прежде всего, на изучении проблем применения концептуального анализа, понимаемого в качестве основного методологического средства, к решению основных философско-правовых проблем, а также на установлении границ его аппликации, которые задаются спецификой области применения. Придание важности концептуальному анализу в исследовании права обусловило появление и специфицировало четыре основных сферы приложения аналитической методологии:

- 1) концептуальный анализ содержания права;
- 2) конструирование концептуальных схем с соответствующей терминологией;
- 3) рациональное обоснование существующих и предполагаемых правовых установлений;
- 4) «телеологическая импликация», означающая, что принятие социальных целей «подразумевается» в терминах социальных мер и социального упорядочения.

(1945–1952) // *The American Journal of Comparative Law*. 1953. Vol. 2, № 3. P. 355–364.

¹ *Summers R.S. The New Analytical Jurists*. P. 866.

Концептуальный анализ содержания права

История философской мысли свидетельствует, что анализ для философских исследований всегда имел важное эпистемологическое и гносеологическое значение, поскольку позволял не только прояснить, но и лучше понять то, на что он был направлен. Однако именно в традиции аналитической философии метод анализа в полной мере раскрыл свои потенции. Как однажды выразился Остин, «мы используем наше отточенное восприятие слов для того, чтобы отточить восприятие нами феноменов»¹.

Аналитические правоведы, заимствуя основные методологические установки аналитической философии, установили, что актуализация применимости концептуального анализа к исследованию правовых явлений позволяет сделать два важных вывода. Во-первых, главной задачей философии права в результате лингвистического поворота становится «прояснение» языка, на котором формулируются эпистемологически значимые вопросы и онтологические утверждения, его своеобразная очистка от «метафизической неопределенности» и разного рода неоднозначности. Достичь этого можно только путем точного определения всех используемых понятий и их соотнесения с эмпирически наблюдаемыми явлениями. И, во-вторых, применение концептуального анализа позволяет не только продвинуться дальше на пути исследования сущности юридических понятий, но внести значительный вклад в изучение оснований и принципов методологии правотворческой (особенно законотворческой) деятельности и юридической техники. Поэтому вслед за аналитическими философами правоведы стали проявлять интерес и оказывать пристальное внимание концептуальному анализу, как важному и, пожалуй, основному методу познания правовой действительности.

Например, Харт вслед за Остином отмечает, что, «занимаясь аналитическими исследованиями, мы стараемся углубить наше понимание того, о чем нам говорит то, что мы используем наш язык. Не существует такого объяснения понятий, которое не в состоянии расширить наше понимание мира, в отношении которого мы их применяем. Успешный анализ или определение

¹ Остин Дж.Л. Принесение извинений / Остин Дж.Л. Три способа пролить чернила: Философские работы. СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2006. С. 207.

сложных или трудных способов или форм выражений, конечно, обладает некоторыми существенными элементами обнаружения факта, поскольку при объяснении любых понятий мы неизбежно обращаем внимание на различия и сходства между явлением, к которому мы применяем понятие, и другими явлениями»¹.

В чем заключается суть концептуального анализа? Причем неважно, говорим ли мы о «концептуальном анализе» или об «анализе использования слов», речь идет об одном и том же. Хотя выражение «лингвистический анализ» имеет более частое употребление, однако для правовой сферы оно является менее пригодным, так как «лингвистический анализ» подразумевает своим предметом собственно язык. Напротив, предметом концептуального анализа являются понятия или идеи, имеющие непосредственное отношение к праву и используемые в праве. Язык, конечно, необходим, но только как средство или среда, в которой правовые понятия или идеи могут быть релевантными. В этой связи концептуальный анализ в большей степени, хотя и не всецело, связан с идеей, что понятия являются смыслами или значениями (эта идея требует особого исследования, но пока мы будем ее использовать в качестве допущения). И в этом смысле он направлен на распознавание содержания смысла соответствующего слова; этот анализ обычно осуществляется посредством распознавания свойств, которые позволяют отличить одни вещи, которые подпадают под соответствующее понятие, от других вещей. Таким образом, можно сказать, что концептуальный анализ в *классическом представлении* заключается в том, что он представляет собой априорную деятельность, которая стремится прояснить содержание понятия, рассматривая интуиции в отношении возможных случаев.

Из-за неопределенности общих черт концептуальный анализ иногда путают с юридической интерпретацией². Но когда правовед-теоретик применяет концептуальный анализ, он не делает того, что делает юрист-практик, когда интерпретирует статью закона или какой-нибудь другой нормативно-правовой акт. Хотя между этими ви-

¹ Hart H.L.A. Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer // University of Pennsylvania Law Review. 1957. Vol. 105. P. 967.

² Bodenheimer E. Modern Analytical Jurisprudence and the Limits of Its Usefulness // University of Pennsylvania Law Review. 1956. Vol. 104. P. 1080, 1085.

дами мыслительной деятельности есть много различий, но необходимо проиллюстрировать, как минимум, три значимые дистинкции.

Во-первых, совершенно различны источники проблем, требующих применения техники концептуального анализа. Проблема интерпретации для юриста-практика возникает потому, что, например, в тексте непоследовательно используется одно и то же слово из-за синтаксической двусмысленности или различия между содержанием властного предписания и обычным значением слов, используемых в повседневной речи. Однако в этом смысле проблемы для концептуального аналитика не возникает. Напротив, его проблема может возникнуть не потому, что он озадачен или в затруднении, а скорее потому, что он просто хочет при помощи анализа ясно сформулировать нечто, что он намеревается исследовать.

Во-вторых, юрист-практик может почти всегда создавать свою проблему в терминах выбора между двумя альтернативными интерпретациями, каждая из которых ему известна и совершенно понятна. Чего нельзя сказать о правоведе-аналитике, проблема которого возникает, например, из-за наличия в праве коллизионных норм.

В-третьих, практик при своем «анализе» будет использовать приемы и средства, отличные от аналитической методологии. Интерпретируя тот или иной правовой акт, практик использует, прежде всего, догму права, то есть некие юридические каноны, чуждые концептуальному анализу. Помимо этого, практик может вовлечься в «старый» методологический спор между телеологической и буквальной интерпретацией.

Напротив, правоведе-аналитик не пытается определить то, что отдельный человек подразумевал в конкретном случае, используя те или иные понятия. Кроме того, юрист-практик при интерпретации закона не может не считаться и чаще всего, в прямом смысле слова, зависит от господствующей государственной политики. Чего нельзя сказать о правоведе-аналитике, который при анализе выражения «государственная политика» пытается установить концептуальное взаимодействие, например, между понятиями «право» и «правило».

Конструирование концептуальных схем

Заемствование данной методологической стратегии у аналитической философии языка и ее применение в исследовании

и толковании правовых понятий вынуждает правоведа выйти за пределы концептуального *status quo*. Иными словами, чтобы *улучшить* репрезентативность реальности, аналитик должен выйти за пределы анализируемых понятий, но оставаться в пределах определенной концептуальной схемы¹. Необходимость данного условия диктуется тем, что, во-первых, не всегда концептуальная схема имплицитно содержит должным образом понятые предметы, и, во-вторых, изменчивость предметов провоцирует опаздывание в их именовании – понятия иногда *не успевают* за этими изменениями.

Избежать подобных затруднений, по мнению Остина, позволяет применение особого исследовательского метода, имеющего два онтологические допущения. Первое заключается в том, что «со слова никогда, или почти никогда, нельзя стряхнуть то, что внесено в него его этимологией»², следовательно, несмотря на все изменения, распространения и дополнения к значениям слова, оно всегда хранит в себе некую исходную идею, которая пропитывает собой эти изменения и в особом смысле ими управляет. Второе основание тесно связано с первым и логически выводится из него. Когда мы обращаемся к истории слова, пытаемся разобраться с его этимологией, мы неизбежно возвращаемся к некой «модели того, как нечто случается или совершается». Такие модели представляют собой нечто вроде концептуального каркаса, образующего когерентную систему значений языковых выражений. Рассмотрение какого-либо явления (например, совершение какого-либо действия) в качестве модели позволяет нам в терминах этой же модели говорить уже о других явлениях (действиях или событиях), схожих с данной моделью. Подобное условие выполнимо для наиболее простых, примитивных моделей, где, хотя другие явления далеки от исходных, конституирующих данную модель, тем не менее различия между ними доступны. Но в отношении сложных моделей (например, философии) возникают определенные трудности. «Мы слишком спешим заключить, – предостерегает Остин, – что если только мы выявим истинные значения каждого пучка терминов, которыми пользуемся в неко-

¹ Summers R.S. The New Analytical Jurists. P. 871.

² Остин Дж.Л. Принесение извинений. С. 229.

торой конкретной области (как, например, “правильный”, “благодой” и др., связанные с этикой), это сразу прояснит для нас, не оставив ни одного вопроса, что каждому из них соответствует одна-единственная, связывающая внутри себя все со всем последовательная концептуальная схема»¹. Схожую мысль мы обнаруживаем у Куайна, который в критике различения аналитических и синтетических суждений и метода радикальной верификации опирается на идею концептуального каркаса². Эпистемологический проект Куайна основан на предположении, что невозможно посредством обращения к «чистому опыту» обнаружить сам мир, поскольку мир всегда уже размечен соответствующими концептуальными каркасами, сформированными в языке. В этом смысле невозможно не только обнаружить сам мир, но даже совершить адекватный переход из одного концептуального каркаса в другой, так как, пытаясь это сделать, мы подгоняем исследуемый каркас под свою собственную концептуализацию. Следовательно, концептуальный каркас является локальным, а не тотальным. Это означает, что мы всегда можем представить иную когерентную систему, и в рамках этой новой системы будут трансформироваться представления о суждениях.

Не все понятия и не все идеи можно применить к отдельным предметам или дать верное представление о них. Подобное исследовательское затруднение существует не потому, что отсутствует достаточное количество фактов этих предметов, а скорее по причине того, что имеющаяся концептуальная схема неудовлетворительна или неадекватна. Это порождает необходимость конструирования новых, отличительных концептуальных схем. Так случается потому, что имеющиеся в нашем распоряжении концептуальные модели часто накладываются одна на другую, конфликтуют, а иногда даже несоизмеримы друг с другом. Действительно, анализируя то или иное слово, мы можем обнаружить, что его значение распространилось на такие случаи, связь которых с исходной моделью едва ли различима, а это становится

¹ Остин Дж.Л. Принесение извинений. С. 230.

² См.: Куайн У.В.О. С точки зрения логики. 9 логико-философских очерков. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. 272 с.

причиной многих заблуждений и предрассудков¹. Обеспечение этих условий позволяет выйти за пределы концептуального *status quo* и не обязывает вводить в научный оборот совершенно новые понятия или изобретать новую терминологию, чтобы выразить анализируемые понятия.

Убедительным, на наш взгляд, примером применения техники конструирования концептуальной схемы является определение понятия «свобода», предложенное Дж. МакКаллумом в качестве альтернативы концепции свободы И. Берлина. С точки зрения МакКаллума, определение понятия свободы включает следующее: субъект, или актор, свободен от определенных ограничений или препятствующих обстоятельств, чтобы сделать что-то или становиться чем-то или кем-то. Поэтому свобода является триадическим отношением, то есть отношением между тремя элементами: актором, определенными препятствующими обстоятельствами и определенным поведением актора. Так, если взять формулу « X по отношению к Y является (не является) свободным сделать (не сделать, стать, не стать) Z », то X будет распространяться на акторов, Y – на «препятствующие обстоятельства», такие, как принуждение, ограничения, вмешательства и преграды, и Z – на действия, на состояние личности или на обстоятельства. Но наличие в каком-либо высказывании всех трех элементов необязательно, так как, если «при обсуждении свободы отсутствует ссылка на один из этих параметров, это должно происходить лишь потому, что считается, будто он понятен из самого контекста обсуждения»². Следовательно, любое высказывание о свободе или несвободе может быть представлено в виде высказывания вышеупомянутой формы, определяющей, что свободно или несвободно, и кто свободен или несвободен сделать что-то или становиться кем-то.

Предложенная концептуальная схема, по-видимому, имеет универсальный характер, поскольку может быть протестирована в разных областях социального взаимодействия. И данная формула релевантна сфере права, где анализ внешнего поведения позволяет квалифицировать действия акторов. Таким образом, явно выраженный би-

¹ Остин Дж.Л. Принесение извинений. С. 230.

² MacCallum G. C. Negative and Positive Freedom // The Philosophical Review. 1967. Vol. 76. P. 314.

хевиористский аспект этого триадического отношения, эксплицированного в правовой реальности, позволяет уйти от проблематики различения разных типов свободы и четко уловить коммуникативное содержание концепта «свобода». Действительно, применяя формулу « X по отношению к Y является свободным сделать (не сделать, стать, не стать) Z » к анализу правовых отношений, мы заключаем, что, поскольку «препятствующими» в правовой сфере будут сами правовые правила, ограничивающие наше поведение в особом (формально-юридическом) смысле, то X свободен совершить Z , то есть совершить «все, что прямо не запрещено законом». Однако X не свободен не совершить Z , так как наличие Y вынуждает его поступить так, а не иначе. Таким образом, X является свободным в том и только в том случае, когда имеют место «обстоятельства», соответствующие Y . Иными словами, человек может быть реально свободным только в правовой сфере, в пределах действия правового правила.

Важно подчеркнуть, что концептуальное затруднение, так же как и изначальное неправильное понимание сущности предметов, является первопричиной создания концептуальных схем. Например, одной из основных проблем юриспруденции является проблема экспликации сущности права. Право или феномен права, в отличие от крокодилов или квадратов, представляет собой способ социального упорядочения, вследствие чего подвержено изменениям, причем иногда даже фундаментального характера¹. В этом смысле понятие права определенным образом зависит от социально-экономических, политических, культурных изменений в обществе на определенном этапе его исторического развития. Что, в конечном счете, значительно влияет на наше понимание права и его эпистемологических следствий. Следовательно, для адекватной экспликации понятия права необходима релевантная концептуальная схема, учитывающая его вышеуказанные характеристики.

Рациональное обоснование

Рациональное обоснование (rational justification) представляет собой основной тип мыслительной деятельности аналитических

¹ Corbett J.P. Innovation and Philosophy // Mind. New Series. 1959. Vol. 68, №. 271. P. 289.

философов права, то есть собственно аналитический¹. Именно «рациональное обоснование» (а корректнее было бы сказать «рациональная аргументация») в полной мере характеризует особый стиль философствования, заимствованный правоведами у аналитических философов. А поскольку методика аналитического подхода требует, чтобы каждое выдвигаемое положение было строго обосновано с точки зрения ясности посылок: правомерности формулируемого вопроса; однозначности используемых терминов; логичности рассуждения; предпочтения доказательной аргументации идей их эмоциональному воздействию; соотнесения посылок и выводов, – необходимо осторожное отношение к широким философским обобщениям, абстракциям и спекулятивным рассуждениям. Именно акцент на аргументированности, мастерстве доказательства составляет главный признак аналитического стиля философствования². Применение этой специфической техники философской рефлексии оказало значительное влияние на трансформацию не только методологического арсенала философии права, но, что, наверно, самое важное, – на ее предметную область, обусловив появление аналитической философии права.

Но какая деятельность является рациональной? Или, как метко выразился Дж. Серл, «как возможно рациональное принятие решений в мире, в котором все происходящее является результатом неразумных, слепых, природных движущих сил?»³. Рациональной является такая деятельность, отмечает А.Л. Никифоров, которая организована в соответствии с правилами, нормами, стандартами рациональности. Стандарты рациональности опираются на наше знание вещей и явлений и аккумулируют в себе опыт прошлой успешной деятельности. Между условиями, целями и средствами деятельности существует определенная объективная взаимосвязь: условия детерминируют цели, которые, в свою очередь, определяют средства их достижения. Нормы рациональности в обобщенном виде отображают эту взаимосвязь, и когда человек попадает в данные условия и хочет рационально достигнуть цели, то он вынужден действовать в соответствии

¹ *Summers R.S.* The New Analytical Jurists. P. 875.

² *Аналитическая философия: Учебное пособие* / Под ред. М.В. Лебедева, А.З. Черныка. М.: Изд-во РУДН, 2006. С. 11–12.

³ *Серл Дж.* Рациональность в действии. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 19.

с нормами рациональности, то есть в соответствии с объективной связью вещей. Даже если имеется некоторый выбор в средствах и действиях, логика и знание предпишут нам наиболее рациональный путь к цели¹. Иными словами, «сущностью философии рациональности является деятельность рассуждения, целенаправленная деятельность сознательных личностей»².

Если рациональной может быть деятельность, соответствующая определенным правилам или нормам, то и рациональное обоснование, как деятельность, имеющая характерную логическую структуру, также должна подчиняться определенным правилам. Рациональное обоснование (или логическая аргументация) есть особая форма разумного убеждения. Она так называется потому, что в ней убеждение основывается на доводах разума и логики, а не на эмоциях, чувствах и тем более не на волевом и ином воздействии или принуждении. В этом смысле обоснование принимает логический характер, поскольку в суждениях логики выражается отношение наших мыслей к действительности, и они характеризуются как истинные и ложные. Разумеется, самыми убедительными доводами в аргументации в конечном итоге являются факты, но они должны быть соответствующим образом упорядочены и систематизированы, а этого можно добиться только с помощью логических суждений и умозаключений. В конце концов, разумное убеждение достигается с помощью логически правильных рассуждений, в которых заключения выводятся или подтверждаются с помощью истинных посылок.

Поэтому аналитический философ права, пытаясь ответить на такие вопросы, как, например, каково рациональное обоснование гражданского неповиновения? каково рациональное обоснование наказания? и проч., – вынужден «разбирать общий случай» для того, чтобы выстроить и ясно сформулировать для обоснования общие аргументы, а не анализировать концептуальный *status quo* или создавать новые концептуальные схемы с соответствующей терминологией. В этом как

¹ Никифоров А.Л. Рациональность и свобода // Рациональность как предмет философского исследования. М., 1995. С. 180–181.

² Серл Дж. Рациональность в действии. С. 117.

раз и проявляются различия между рациональным обоснованием правоведа-аналитика и обыденным обоснованием. Это подтверждается следующими моментами. Во-первых, тогда как правовед-аналитик решает такие общие вопросы, как, например, как рационально обосновать гражданское неповиновение? – обычный человек обращается к более непосредственной и определенной форме этого общего вопроса, например: будет ли обоснованным неповиновение в том случае, когда локальный нормативно-правовой акт устанавливает расовую дискриминацию? Во-вторых, обычный человек может высказаться по существу тех или иных сторон определенного вопроса, тогда как правовед-аналитик должен воздержаться от каких бы то ни было оценочных характеристик. Работа аналитика закончена тогда, когда он сформулировал и четко выстроил ясные и взвешенные аргументы. В этом смысле рациональное обоснование является аналитическим, поскольку предполагает дифференциацию, конструирование и выстраивание рациональных аргументов.

Телеологическая импликация

Саммерс, обозначая эту сферу аналитической деятельности как «телеологическая импликация» (*purposive implication*), отмечает, что ее значение заключается в исследовании того, почему принятие социальных целей или ценностей обусловлено языком социальных мер и социального порядка¹. Основное различие между рациональным обоснованием и телеологической импликацией, согласно его интерпретации, состоит в том, что телеологическая импликация представляет собой, по сути, имитационный эксперимент, рассматривающий практические следствия индивидуальных ценностных ориентаций, в то время как рациональное обоснование предполагает рефлексию аргументов «за» и «против» этих ориентаций. Однако связь между ними обусловлена тем, что телеологическая импликация способна обеспечить рациональное обоснование новыми аргументами, которые в целом или отчасти необходимо учитывать.

¹ *Summers R.S. The New Analytical Jurists. P. 877.*

Термин «телеологическая импликация»¹ впервые был введен в научный оборот Фуллером и предназначался для обозначения процедуры, с помощью которой Харт формулирует свою идею «минимального содержания естественного права»². Действительно, телеологическая концепция природы, или «телеологическая импликация» по Фуллеру, имеет для Харта важное эпистемологическое значение, поскольку позволяет установить точки пересечения двух правовых онтологических стратегий – традиций естественного права и юридического позитивизма. Харт пишет: «Невозможно всерьез отрицать, что на развитие права, везде и во все времена, действительно оказывали глубокое воздействие как обыденная мораль и идеалы отдельных социальных групп, так и просвещенная моральная критика со стороны тех индивидов, чьи нравственные горизонты глубоко превосходили принятую в данное время мораль»³. При этом доктрина естественного права, по мнению Харта, есть часть понимания природы, понимания того, что все существующие тела (неодушевленные, одушевленные и люди) понимаются как стремящиеся к определенному состоянию, являющемуся особым благом или целью для них. Это и есть телеологическая концепция природы, в основании которой лежит допущение, что должной целью деятельности человека является выживание; что подтверждается простым фактом – большинство людей желают продолжать существование (даже ценой ужасных страданий, например в нищете). Эта простая мысль, отмечает Харт, тесно связана с особенностями и права, и морали, поскольку общее желание жить, понимаемое как важный телеологический элемент концепции природы, отражено в структурах нашей мысли и языка, с помощью которого мы описываем мир и друг друга. Принятие выживания как цели необходимо, так как нас волнуют, согласно Харту, социальные механизмы для продолжения существования, а не проблемы организации клуба самоубийц. Поэтому «мы желаем знать, есть ли среди этих социальных механизмов те, которые могут быть осмысленно классифицированы как естественные законы, открываемые разумом, и ка-

¹ Фуллер Л.Л. Мораль права. С. 219.

² См.: Харт Г.Л.А. Понятие права. С 194–200.

³ См.: Харт Г.Л.А. Понятие права. С. 187.

ково их отношение к принятым людьми законам и морали. Чтобы поднять этот или любой другой вопрос о том, как люди должны жить вместе, мы должны исходить из того, что их целью в общем-то является жить»¹.

Однако Фуллер сомневается, что предложенный проект Харта способен ответить на вопрос: «Кто будет включен в сообщество, которое принимает и стремится совместно реализовать общую цель выживания?». Иными словами, отсутствует ответ на вопрос: «Кто выживет?». Хотя Фуллер и признает интересным рассуждение своего оппонента о минимальном содержании естественного права, называя эту идею «минимумом морали долга», но не соглашается с его основным тезисом, что выживание составляет сущностный и центральный элемент всех человеческих устремлений. По мнению Фуллера, поиск Хартом «центрального элемента» в человеческих стремлениях приводит к вопросу о том, может ли вообще обнаружение этого элемента привести к успеху. Поскольку, если бы нам пришлось выбирать принцип, который поддерживает и питает устремления человека, мы нашли бы его, считает Фуллер, в задаче поддержания общения с другими людьми, то есть в коммуникации. Из этого следует, что центральный и неоспоримый принцип естественного права заключается в задаче «устанавливать, поддерживать и охранять целостность каналов коммуникации, посредством которых люди передают друг другу то, что они воспринимают, ощущают и желают»².

Короче говоря, аналитическая стратегия под названием «телеологическая импликация» стремится ответить на такие вопросы, как «Позволяет ли учет цели, заключающейся в создании эффективной системы права, сделать вывод, что правила необходимы?», «Позволяет ли учет цели человека, заключающейся в выживании, а также его природы и условий, при которых он живет, сделать вывод, что должны быть созданы правила, запрещающие воровство и насилие?», «Позволяет ли учет цели, заключающейся в создании гуманного и либерального общества, сделать вывод, что система права такого общества должна признавать презумпцию невиновности?» и т.д.

¹ Харт Г.Л.А. Понятие права. С. 194.

² Фуллер Л.Л. Мораль права. С. 221.

Обращаясь к подобного рода вопросам, правовед не создает общего случая и не выступает против некоторого общего суждения, учреждения, практики или идеи; вместо этого он пытается разобраться, чем детерминировано принятие этих социальных целей.

По-видимому, эквивалентом «телеологической импликации» в отечественной теории и философии права является телеологическое толкование, понимаемое как способ толкования, суть которого состоит в выяснении целевой направленности нормы права. А поскольку цель нормы объединяет содержание нормы единой направленностью на достижение определенного результата, особенность телеологического толкования состоит в том, что все знания и приемы их использования привязываются к цели правового установления, которая выходит за пределы непосредственного содержания нормы, но объясняет ее.

Таким образом, как результат применения концептуального анализа, этого необходимого методологического средства, аналитические философы права при исследовании сущности правовых явлений разрабатывают релевантные концептуальные схемы; принимая во внимание цели и задачи правового регулирования, что было названо «телеологической импликацией», стараются рационально обосновать отдельные правовые выводы. Каждая из указанных исследовательских стратегий по своему содержанию может быть определена как аналитическая. Применение данного аналитического арсенала в решении конкретных философско-правовых проблем позволяет правоведам-аналитикам предлагать концептуальные схемы, которые затрагивают не только основания юриспруденции, но и смежные отрасли гуманитарного знания. С другой стороны, выявление базовых процедур анализа понятий через экспликацию вопроса о специфике аналитической деятельности и ее способности приобретать знание в виде априорных и необходимых истин, позволяет утверждать, что анализ (прежде всего, концептуальный анализ) является одним из доминантных методологических подходов в философии права.

Следовательно, основная задача аналитической философии права – «более ясно осветить или изобразить те особенности правовых понятий, которые отличают их от обычных, относительно хорошо понятых типов понятий, и четко показать характерный способ их функционирования. С этой целью должны быть приня-

ты во внимание *примеры* их юридического употребления... Таким образом, чтобы продемонстрировать специальное употребление слов в правовой сфере, будет вполне достаточным рассмотреть несколько примеров этой достаточно общей характерной черты... С другой стороны, часто бывает необходимым подчеркнуть особенности, считающиеся само собой разумеющимися или игнорируемыми как очевидные при изучении отдельных отраслей права, и указывать, какое место они занимают в структуре проблематизируемого понятия. Результат подобного аналитического исследования состоит в расширении понимания юридических понятий, не только благодаря указанию их места в правовом мышлении, но также благодаря ясной демонстрации определенного способа, отличающего их от упрощенных или более известных понятий обыденного «дескриптивного» дискурса¹. А «продемонстрировать специальное употребление слов в правовой сфере» можно через постулирование особого характера правовых понятий, для раскрытия содержания которых необходимы особые методы. Одним из таких методов Харт, вслед за Бентамом, называет «определение в употреблении» (*definition in use*), который вместо определения отдельных слов (например, «обязательство» или «обязанность») предполагает анализ всего предложения, содержащего эти слова. Поэтому для уяснения, например, понятия «обязанность» необходимо исследовать не отдельное слово, но такое предложение, как «*X обязан заплатить Y 100 фунтов*»².

2.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ПРАВА

Философия права, как и любая другая отрасль научного знания (особенно философия), несвободна от методологических проблем и противоречий. В то же время своеобразие исследуемой области обуславливает разнообразие методологических подходов. Это допущение позволяет В. Родригес-Бланко утверждать,

¹ *Hart H.L.A. Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer // University of Pennsylvania Law Review. 1957. Vol. 105. P. 972.*

² *Hart H.L.A. Jhering's Heaven of Concepts / Hart H.L.A. Essays in Jurisprudence and Philosophy. Oxford University Press, 1983. P. 272.*

что, поскольку основной задачей философии права является выяснение онтологических особенностей правовых явлений, то дискуссии касательно используемой методологии можно локализовать в двух основных подходах – дескриптивном и нормативном, в рамках которых возможно выделить самостоятельные направления. Объединяющей идеей для представителей дескриптивной методологии является допущение, что право описать возможно, однако то, как это сделать, есть основание для дифференциации следующих двух направлений. Представители первого (М. Мур, Б. Лейтер, Д. Бринк и др.) утверждают, что задачей дескриптивной юриспруденции является описание либо естественных, либо функциональных качеств права. Следовательно, существуют юридические или этические сущности, которые имеют пространственно-временную связь и которые являются предметом и для описания, и для объяснения. Представители второго направления (Г.Л.А. Харт, Дж. Колман, К. Химма и др.) считают, что задачей дескриптивной юриспруденции является описание правовых понятий посредством применения метода концептуального анализа, которому они придают первостепенное значение. С другой же стороны, представители нормативной методологии (Р. Дворкин, С. Перри, Дж. Финнис и др.) отмечают, что и концептуальный анализ, и описание юридических или этических сущностей не лишены недостатков, поэтому право нуждается в моральных аргументах и оценочных суждениях, которые являются необходимыми элементами сущности права¹.

Д. Паттерсон отмечает, что методология – это грамматика юридической аргументации и материя юридической практики². Действительно, отсутствие методологии не позволяет нам продуцировать, обсуждать и оценивать правовые суждения. А поскольку обсуждение методологии права имплицитно содержит серьезные вопросы о сущности права и теоретико-правовых проблемах, то именно через их всестороннее обсуждение мы

¹ *Rodriguez Blanco V. Methodological Problems in Legal Theory: Normative and Descriptive Jurisprudence Revisited // Ratio Juris. 2006. Vol. 19, № 1. P. 26–27.*

² *Patterson D. Methodology and Theoretical Disagreement // ESSAYS IN EUROPEAN LEGAL METHOD, Ulla Neergaard, Ruth Nielsen and Lynn Roseberry, eds., DJOEF Publishing, 2011. Доступно в SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1748589>*

приближаемся к тому, что позволяет нам увидеть картину права в более ясном виде.

Заимствование общей методологической установки аналитической философии, что большая часть философских проблем может быть решена внимательным и осторожным отношением к языку, характеру употребляемых понятий и их концептуальным различиям, позволяет философии права разработать свой собственный методологический проект. В частности, У. Твайнинг отмечает, что аналитические методы, применяемые в юриспруденции, должны не только включать методы логического, лингвистического и концептуального анализа, но и учитывать различные техники анализа, разработанные и применяемые в смежных отраслях научного знания (например, метод идеальных типов, метод моделирования, метод деконструкции и проч.). При этом «было бы глупо, – пишет Твайнинг, – пытаться систематизировать методы концептуального толкования, равно как пытаться сделать то же самое в отношении техники языкового перевода или в отношении литературоведения»¹. Однако иногда случается так, что если методы анализа применимы в некоторой области, они оказываются не применимыми в другой. Тем не менее Твайнинг считает, что можно выделить ряд исследовательских техник, в отношении которых подобных трудностей не возникает:

- 1) знание тех особенностей языка, что могут угрожать его пониманию (неясность, неопределенность и проч.);
- 2) знание общераспространенных ложных утверждений в языке (например, гипостазирование);
- 3) деление и классификация;
- 4) дифференциация видов определений; условные определения;
- 5) учет при объяснении понятий невозможности применения техники определения *per genus et differentiam* вследствие их абстрактности (например, метод парафразы)
- 6) метод дизамбигуации;
- 7) использование общепринятых или парадигмальных случаев;

¹ *Twining W. General Jurisprudence: Understanding Law in Global Perspective. New York: Cambridge University Press, 2009. P. 39.*

- 8) использование метода идеальных типов;
- 9) метод аналогий, шаблонов и метафор;
- 10) метод «семейных сходств» Витгенштейна;
- 11) методы деконструкции и имманентной критики¹.

Чтобы продемонстрировать специфику методов, принятых в аналитической философии права, и подтвердить отмеченные особенности аналитических исследовательских стратегий, следует снова обратиться к дистинкции «новое/старое» в англоязычной аналитической юриспруденции. Как отмечалось выше, различаются «старые» теоретики и философы права (Дж. Остин и его последователи, включая Дж.Ч. Грея, У.Н. Хофельда, А. Кокоурека) и «новые» (британские мыслители Г.Л.А. Харт, Г.Л. Уильямс, Г.Б.Дж. Хьюз и американские ученые Р. Дворкин, Ч. Фрид, Г.Моррис, Р.А. Вассерштрём и др.). Опять же, необходимо еще раз отметить, что подобное деление, в первых, достаточно условно, поскольку не учитывает ни традиции скандинавского правового реализма, представленного работами А. Хёгерстрёма, А. Росса, К. Оливеркроны и др., ни аналитической по своему характеру американской школы естественного права, представленной, прежде всего, работами Л.Л. Фуллера и его последователей, ни континентальной традиции, представленной работами, например, Г. Кельзена или Н. Боббио. Во-вторых, предложенная Саммерсом дифференциация рассматривает дискуссии вокруг сущности права, имевшие место преимущественно в англо-американской академической среде 60-х годов XX века.

Как уже было отмечено, работы «новых» правоведов эксплицированы в свете аналитической онтологии (заимствование основных методологических установок аналитической философии языка). Однако данное допущение не должно затенить те существенные различия, которые имеются между «старым» и «новым» направлениями. «Новое» направление описывается Саммерсом как «менее позитивистское»², чем предшествующее, но при этом утверждается, что большинство его членов (за исключением Харта) придерживаются ключевого для позитивистов положения,

¹ Там же. P. 40–41.

² Summers R.S. The New Analytical Jurists. P. 863.

в соответствии с которым «право как оно есть может быть четко отделено от права, каким оно должно быть». На основании анализа дифференцирующих отличий Саммерс приходит к выводу, что «новое» направление по своему характеру экстенсивно, имеет более широкую область применения, более сложную методологию, меньшее количество доктринерства и поэтому, вероятно, обладает большей практической полезностью. Основные новации аналитической философии, такие как проблема следования правилу Л. Витгенштейна, теория речевых актов и перформативных высказываний Дж.Л. Остина, «логический бихевиоризм» Г. Райла, правила языковых употреблений Дж.Р. Серла, значительно повлияли и оказались конституирующей теоретико-методологической базой отдельных правовых онтологических концепций (в частности, теории аскриптивных правовых высказываний Харта, о которой речь пойдет в следующей главе) и применения методов лингвистической философии к познанию правовой реальности в целом.

Методология «новых» аналитических правоведов более сложна отчасти оттого, что они, являясь, прежде всего, философами, при исследовании правовых явлений часто применяли философские методы, которые были неизвестны или неправильно поняты «старшими» аналитиками¹. Поэтому необходимо более детально исследовать эти наиболее распространенные заблуждения, встречающиеся в работах Дж. Остина и его последователей. Однако следует отметить, что целью представленных ниже примеров является установление того, как эти ошибки влияли на «старых» аналитиков, а не *доказать*, что «новые» аналитики их избежали.

Можно выделить следующие основания этих эпистемологических заблуждений: 1) смешение концептуальной проблематики и эмпирических подтверждений; 2) «редукционистский импульс»; 3) эссенциалистские установки; 4) неправильное применение техники *per genus et differentiam*².

¹ Dickson J. Methodology in Jurisprudence: A Critical Survey // Legal Theory. 2004. Vol. 10. P. 117–156.

² Summers R.S. The New Analytical Jurists. P. 878.

1. Следует различать концептуальное содержание понятий и эмпирическое их проявление. Так, например, чтобы эмпирически обнаружить специфические случаи проявления намеренного действия, необходимо установить, каково лингвистическое значение понятия «намерение» и каковы специфические случаи его употребления. Однако ранние аналитические правоведы оставили без внимания концептуальную проблематику и уступили убеждению, что возможно преобразовать концептуальные вопросы в вопросы эмпирического факта. Например, Дж. Остин и некоторые из его последователей считали, что наличие обязательства заключается в том, что субъект находится под угрозой применения санкции только тогда, когда он не совершает действие или воздерживается от предписанного действия. Но это несколько некорректный анализ, поскольку можно весьма справедливо отметить, что у человека есть обязательство, даже если нет никакой возможности наложения санкции за нарушения: например, моральные обязательства или обязательства депутата перед своими избирателями. Хотя наложение санкций за неисполнение подобных и других *неправовых* обязательств возможно, но они для Остина и его последователей имеют второстепенное значение. Поскольку, как отмечает Харт, «для решения вопроса о том, имеется ли в данном случае обязанность или нет, они определяли это понятие не через субъективные факторы, но в терминах шанса или вероятности того, что человек, связанный обязательством, понесет наказание или испытает “зло” от рук других в случае его неповиновения»¹. Для аналитического философа права принципиальное значение имеет не только установление типа контекста, в котором употребляются такие выражения, как «иметь обязанность» и «быть обязанным», но и анализ конкретного речевого акта, *налагающего обязанности и применяющего санкции*.

Рассмотрим пример Харта с вооруженным грабителем² как подтверждение того, что целью анализа является не установление эмпирических фактов, но раскрытие исчерпывающего репрезентативного содержания некоторого понятия.

¹ Харт Г.Л.А. Понятие права. С. 89.

² Там же. С. 88–90.

Итак, *X* приказывает *Y* отдать деньги, угрожая в противном случае убить его. Согласно остиновской теории принуждающих приказов эта ситуация иллюстрирует понятие обязательства или обязанности в целом. Правовые обязательства могут быть обнаружены и определены на основании этой ситуации: *X* должен быть сувереном, которому по привычке повинуются, а приказы должны носить общий характер и предписывать типы поведения, а не совершение отдельных действий. Схема с вооруженным грабителем – это именно тот случай, когда мы уверенно можем сказать, что *Y*, если он принял решение повиноваться, будет *должен* отдать свои деньги. Однако, с другой стороны, ясно, что мы ошибочно истолкуем смысл ситуации, если скажем, что *Y* *имел долг* или *обязанность* отдать деньги. Поэтому для должного понимания смысла понятия «обязанность» мы нуждаемся в соответствующем аналитическом инструментарии. Необходимо объяснить различие между утверждением, что некто *был должен* совершить определенные действия, и утверждением, что он *имел обязанность* совершить его. В первом случае, отмечает Харт, речь идет, как правило, о побуждениях и мотивах для совершения действия: в случае с грабителем *Y* должен был отдать свои деньги потому, что думал, что в противном случае с ним случится нечто весьма неприятное, и выполнил приказание для того, чтобы избежать этих последствий. В подобных случаях перспектива, которая открывается перед агентом, стоящим перед выбором, в случае, если он откажется повиноваться, делает действия, которые он предпочел бы совершить в противном случае (сохранить свои деньги), заведомо менее приемлемыми. И все же, хотя подобные ссылки на общие представления о серьезности вреда и разумную оценку вероятности его нанесения имплицитно присутствуют в этой ситуации, утверждение, что этот человек *был обязан* повиноваться другому, в целом носит психологический характер и касается представлений и мотивов, на основании которых совершается действие. Однако утверждение, что некто *имел обязанность* совершить определенные действия, принципиально отличается от утверждения, что этот человек *был обязан* повиноваться другому. Дело не только в том, что в случае с вооруженным грабителем факторы, определяющие поведение *Y*, а также его оценку ситуации и мотивы выбора того или иного способа действия, доста-

точные, чтобы обосновать утверждение, что *У* должен был отдать свой кошелек, однако не достаточны, чтобы обосновать утверждение, что этот человек имел обязанность совершить данное действие. Верно также и то, что факторы подобного рода, то есть факты, касающиеся оценки и мотивов, не являются необходимыми для того, чтобы сделать утверждение о том, что человек имел обязанность, истинным.

Таким образом, определение Остином обязанности как возможности причинения страданий или наложения санкций является в лучшем случае неубедительным анализом понятия *быть обязанным* сделать нечто и слишком неподходящим для анализа *иметь обязанность*¹. Из суждений «*У* имел обязанность сделать нечто» и «*У* был обязан сделать нечто» выводятся различные логические следствия, и только через прояснение этих выражений может быть объяснено понятие обязанности. Например, было бы противоречивым утверждать, что «*У* был обязан передать свой кошелек, но этого не сделал»; но это не противоречит утверждению «*У* имел обязанность передать кошелек, но этого не сделал». Точно так же было бы противоречием, что «*У* был обязан отдать кошелек, не страшась при этом наступления неблагоприятных последствий в случае невыполнения»; но это не противоречит утверждению «*У* имел обязанность отдать кошелек, не страшась при этом наступления неблагоприятных последствий в случае невыполнения».

Что может произойти, если «перевести» концептуальный вопрос «Что определяет наличие обязательства?» в эмпирический или социологический вопрос «Что может случиться, если граждане не совершают действий или воздерживаются от предписанного действия?»? В отличие от первого вопроса, второй, очевидно, – вопрос эмпирический, призывающий к социологическому исследованию поведения человека, а не его вербального поведения. Поскольку как только утверждается, что санкции обычно следуют за несоблюдением, то из этого ошибочно делается вывод, что «наличие обязательства» заключается просто в наличии угрозы применения санкции, и поэтому невозможно иметь обязательство, если санкция за несоблюдение не предполагается.

¹ Hart H.L.A. Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer // University of Pennsylvania Law Review. 1957. Vol. 105. P. 966.

2. Харт критикует Остина, а вслед за ним и Кельзена, за «неспособность противостоять соблазну упростить неоднородный и сложный феномен права и редуцировать вариативность правовых норм до некоторой простой формы»¹. Эта «редукционистская» тенденция, которая часто оказывалась ловушкой во многих других отраслях философии, очевидна, например, в требовании Кельзена, что «подлинные нормы», на самом деле, являются правилами («первичными нормами»), которые предписывают должностным лицам применять санкции при определенных обстоятельствах, и что сущность правовой системы обнаруживается лучшим образом, если мы переформулируем правовые нормы в условные предписания должностным лицам при применении санкций. Важность учета различий, отмеченных обычной терминологией, и сопротивление редукции вариативности различных правовых норм до простого типа таким или иным образом, по мнению Харта, никогда ясно и убедительно не заявлялись. Следовательно, прежде чем сказать, что мы действительно поняли даже те элементы правовой системы, которые соответствующим образом закреплены и уставлены, и что, как результат, мы способны удовлетворительно отличить право от иных социальных регуляторов и проследить их взаимосвязь, нам необходимо выявить логические и иные причины, влияющие на эту и другие формы чрезмерного *упрощения* и *редукции*.

Обобщение или систематизация могут быть полезны и даже необходимы для того, чтобы привести различные понятия к одной категории, то есть «редуцировать» одно понятие до другого, но в других обстоятельствах различия могут быть более важными, чем общие черты. Остин, как некоторые из его последователей, стремился редуцировать к «командам» все указания, имеющие в системе права директивную силу; к «привычкам» – различные факторы, которые составляют согласие с системой права и т.д., что говорит о несвободе от влияния редукционизма. Уступая «редукционистскому импульсу», аналитик, по-видимому, может упустить важные различия и даже проигнорировать неко-

¹ Ibid. P. 959.

торые явления в целом. Поэтому в отдельных случаях редукционизм может быть и недостатком.

3. В онтологии *эссенциализмом* принято считать представление, что некоторые свойства объектов являются сущностными, определяющими. В этом смысле понятие сущностного свойства тесно связано с понятием необходимости, поскольку сказать, что свойство *P* сущностно принадлежит объекту *O*, значит утверждать, что высказывание «*O* имеет *P*» необходимо истинно (необходимость). Общий, хотя и не очень информативный, способ выявления сущностных свойств основывается на положении, что свойство является сущностным для объекта, если он не может потерять это свойство, не перестав быть тем, что он есть. Свойства объекта, которые не являются сущностными в указанном смысле, считаются несущественными, случайными.

Рассмотрим остиновский анализ понятий «команда» и «обязанность». Остин пишет: «Команда и обязанность являются коррелируемыми понятиями: значение одного из них имплицитно или предполагается другим. Или (иными словами) там, где возлагается обязанность, имеет место команда, и всякий раз, когда имеет место команда, возлагается обязанность. Короче говоря, смысл указанной корреляции заключается в следующем. Тот, кто желает покарать, когда его веления не выполняются, произносит команду, выражающую или подразумевающую его веление: Тот, кто ответственен в выполнении веления, обязан подчиниться команде»¹. Если мы стоим на эссенциалистских позициях, то пред нами встает вопрос, какие признаки существенны для команды или обязанности, а какие нет. Например, мы можем поставить вопрос: насколько существен признак «наличия желания управлять» и можем решать его по-разному, констатируя, что этот признак неважен для слушающего, но важен для говорящего. Мы можем также иметь в виду следующий факт, что возможны такие ситуации, что кто-то хотел приказать, но тот, кто являлся адресатом приказа, не повиновался (например, младший по званию отдает приказ старшему), и ставить вопрос, когда же действительно произошел факт команды или приказа; или несколько другой вопрос – что мы будем на-

¹ *Austin J.* The Province of Jurisprudence Determined. Cambridge University Press, 1995. P. 22.

зывать словом «команда» или каков истинный смысл слова «приказ». Такая постановка проблемы, по-видимому, ведет либо к релятивизму, либо к конвенционализму. Так, мы можем релятивизировать слово «команда» по отношению к говорящему или слушающему и рассуждать примерно следующим образом: «Для слушающего это был приказ, а для говорящего – нет, или с лингвистической точки зрения это был приказ, а с юридической – нет». Естественно, такие решения ведут к неоднозначности интерпретаций одного и того же события, которая не может не сказаться на эффективности юридической квалификации, мы вынуждены отвечать на поставленные вопросы следующим образом: «С точки зрения слушающего, это приказ, а с точки зрения говорящего, нет». Такая неоднозначность может быть преодолена, например, конвенционально при помощи того, что мы договоримся употреблять слово «команда» только по отношению к таким-то обстоятельствам и не употреблять по отношению к другим¹.

4. В современной англо-американской философско-правовой научной среде отмечается широкое распространение критического отношения к использованию Остином и некоторыми его последователями техники определения *per genus et differentiam*, поскольку считается, что применение этой методики приводит к искажению понимания основных юридических понятий. Более подробно мы рассмотрим эту технику в следующей главе. Здесь лишь отметим, что «новые» правоведы, в частности Харт (вслед за И. Бентамом), указывали, что эта техника не может использоваться для объяснения многих правовых понятий, поскольку она предполагает, что анализируемые понятия не должны являться *sui generis*, вместо этого они должны находиться в пределах известного и понятного рода, а поэтому могут быть обоснованно изолированы в качестве отдельных слов или выражений, которые могут быть более или менее точным образом соотнесены с их фактуальными аналогами, а затем дифференцированы от других разновидностей того же самого рода. Действительно, данные условия со-

¹ См. подробнее о критике эссенциализма в юриспруденции и лингвистике: *Бринев К.И.* Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. Барнаул: Изд-во Алт. гос. пед. акад., 2009.

блюдаются в случае обыденного употребления, например, таких понятий, как «собака» или «стул». Эти понятия не *sui generis*; понятия «животное» является родом для одного, а «мебель» – для другого, и каждый род известен и понятен. Кроме того, в определенных контекстах понятия «собака» или «стул» могут употребляться отдельно от целых предложений и более или менее соотноситься с фактуальными аналогами, и могут быть дифференцированы от других разновидностей того же самого рода.

«Юридические понятия, – пишет Харт, – имеют важные отличия: их связь с фактами намного сложнее и не непосредственное, и они особенно нуждаются в подробном изложении, и, если они определяются обычным методом, они искажаются или приводят к загадочным результатам»¹. Применение техники определения *per genus et differentiam* для объяснения этих понятий некорректно, поскольку их нельзя ни приписать к общему роду, ни употребить отдельно и ни соотнести с фактуальными аналогами. Чтобы объяснить употребление таких терминов, «новый» аналитик-правовед может применить другие методы, одним из которых Харт называет метод «контекстуальной экспликации»², означающий отбор примеров соответствующего употребления термина в предложениях в определенном контексте. Например, использование предложений «*X* обязан передать имущество *Y*» или «*X* заключил договор с *Y*» молчаливо предполагает особый и довольно сложный контекст, а именно существование правовой системы с подразумеваемым здесь общим подчинением, действием санкций системы и общей вероятностью того, что это будет продолжаться. Но хотя эта сложная ситуация предполагается при употреблении утверждений о правах или обязанностях, последние не утверждают того, что она существует. В игре есть аналогичная ситуация. Фраза «Он вне игры» («He is out»), произнесенная в ходе игры в крикет, имеет своим контекстом игровое действие с подразумеваемым общим соблюдением правил игроками и тренерским персоналом в прошлом, настоящем и будущем.

¹ Hart H.L.A. *Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer*. P. 960.

² См.: Харт Г.Л.А. Определение и теория в юриспруденции // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2008. № 5(280). С. 6–33.

Однако тот, кто говорит «Он вне игры», не утверждает того, что идет игра либо что игроки или тренерский персонал будут следовать ее правилам. Фраза «Он вне игры» есть выражение, употребляемое для того, чтобы апеллировать к правилам, заявлять претензии или принимать в соответствии с ними решения; она не является ни утверждением о правилах в том смысле, что последние в данном случае будут введены в действие или осуществляться, ни каким-либо иным видом утверждения об этих правилах¹.

Таким образом, аналитик может представить своему оппоненту примеры предложений, в которых используется соответствующее выражение, и затем идентифицировать в контексте соответствующие условия этого использования. Например, чтобы объяснить «право», правовед-аналитик поместил бы этот термин в контекст такого предложения, как «*A* имеет право требовать от *B* совершения определенного действия». Как только это выражение будет индивидуализировано, тогда можно предположить, во-первых, существование отношений между субъектами, во-вторых, существование системы права и, в-третьих, существование такого правила, что *B* должен сделать кое-что в отношении *A*. Это пример объяснения того, что отдельные понятия нельзя с полной уверенностью отнести к известному роду; они гораздо больше «контекстуально обусловлены», чем такие понятия, как «собака» или «стул»².

2.3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ И ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Философы права аналитического толка проявляли интерес и со вниманием относились к концептуальному анализу как важному и, наверно, основному методу познания правовой реальности. Анализ для философии всегда имел важное эпистемологическое и гносеологическое значение, поскольку позволял не только

¹ См.: Харп Г.Л.А. Определение и теория в юриспруденции. С. 14.

² Цит. по: Simpson A.W.B. The Analysis of Legal Concepts // Law Quarterly Review. 1965 Vol. 80. P. 535, 555–557.

прояснить, но и лучше понять то, на что он был направлен. Как выразился Дж.Л. Остин «...мы используем наше отточенное восприятие слов для того, чтобы отточить восприятие нами феноменов»¹. Хотя эту мысль едва ли можно считать новой и оригинальной, но тем не менее подобная исследовательская установка является девизом англо-американской философии середины XX века. Платон в диалоге «Кратил» уже эксплицировал идею происхождения языка и образования слов: «Сократ: ...Какое значение имеют для нас имена, и что хорошего они делают? Кратил: Мне кажется, Сократ, они учат. И это очень просто: кто знает имена, тот знает и вещи. Сократ: Наверное, Кратил, ты имеешь в виду что-то в таком роде: когда кто-то знает имя, каково оно, – а оно таково же, как вещь, – то он будет знать и вещь, если только оно оказывается подобно имени, так что это искусство одинаково для всех взаимоподобных вещей. Мне кажется, именно поэтому ты сказал: кто знает имена, знает и вещи»². Схожие с Остином мысли мы можем обнаружить у Харта: «Занимаясь аналитическими исследованиями, мы стараемся углубить наше понимание того, о чем нам говорит то, что мы используем наш язык. Не существует такого объяснения понятий, которое не в состоянии расширить наше понимание мира, в отношении которого мы их применяем. Успешный анализ или определение сложных или трудных способов или форм выражений, конечно, обладает некоторыми существенными элементами обнаружения факта, поскольку при объяснении любых понятий мы неизбежно обращаем внимание на различия и сходства между явлением, к которому мы применяем понятие, и другими явлениями»³.

Дискуссии о методологии начались в эпистемологии, сегодня же их можно обнаружить и в других отраслях научного знания, в том числе и в философии права. Есть современные философы права, которые не просто разделяют куайновский тезис, что философии необходимо избавиться от концептуального анализа в пользу эмпирической методологии, но активно развивают новое направление в философии права – натурализованную юриспру-

¹ Остин Дж.Л. Принесение извинений. С. 207.

² Платон. Сочинения в трех томах. М.: Мысль, 1968. Т. 1. С. 484.

³ Hart H.L.A. Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer. P. 967.

денцию¹. Для реализации такого проекта предпринимаются попытки создания нового понятийного аппарата, объединяющего ряд категорий и понятий философии науки и философии права в их взаимосвязи. Одним из характерных примеров популярности проекта «натурализации эпистемологии права» является множественность интерпретаций термина «натурализм» (и по существу понимание натурализма как методологической доктрины об эмпирическом характере философского исследования) и, как результат, указание на существование натуралистических программ в истории философии права и теории права. Общая цель таких программ состоит в *переинтерпретации* традиционных и нормативно закреплённых в законодательстве понятий («обязательство», «обязанность», «субъективное право», «источник права» и др.) на основе эмпирических обоснований, что в конечном итоге вновь актуализирует проблему объективности философско-правового и юридического знания. В то же время, с негодованием отмечает Б. Лейтер, философия права – одна из немногих областей философии, проигнорировавшая критику Куайном концептуального анализа: «В то время как каждая основная область философии, будь то метаэтика, философия языка, эпистемология, философия науки или философия сознания, в течение последней четверти прошлого века испытала натуралистический поворот, и только англо-американская философия права осталась нетронутой этим интеллектуальным течением»².

Напротив, исследование употребления многих юридических понятий не предполагает и вряд ли может считать релевантным применение сциентистской методологии с ее безоговорочным доверием индукции и эмпирическим наблюдениям. Ибо смысл предложения, содержащего юридические термины, и здесь мы разделяем позицию позднего Витгенштейна, детерминируется теми условиями, которые неиндуктивно (то есть неэмпирически –

¹ См.: Дидикин А.Б. Современные интерпретации натурализма в аналитической философии права // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия Философия. 2008. № 6(1). С. 59–63; Leiter B. Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2007; Leiter B. Naturalizing Jurisprudence: Three Approaches // Public Law and Legal Theory Working Paper. 2008. № 246. P. 1–20.

² Leiter B. Naturalism and Naturalized Jurisprudence / Analyzing Law. Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 80.

с помощью «грамматических» конвенций) оправдывают употребление предложения. Но прежде чем мы перейдем к обоснованию указанной точки зрения, необходимо вкратце рассмотреть содержательные моменты провозглашенного Куайном натуралистического поворота в эпистемологии, изложенные в *Двух догмах эмпиризма*¹.

В современном Куайну эмпиризме он выделял две догмы: 1) наличие фундаментального различия между аналитическими и синтетическими суждениями; 2) редукционизм, который состоит в убеждении, что всякое осмысленное высказывание может быть выражено логической конструкцией, состоящей из терминов, отсылающих непосредственно к опыту.

Первая догма отсылает непосредственно к Лейбницу и Канту. Как известно, Кант провел различие между аналитическими и синтетическими суждениями. Под первыми (аналитическими) он имел в виду суждения, в которых предикат приписывает субъекту то, что уже концептуально содержится в субъекте (например, тела протяженны), то есть аналитическое суждения не дает нам нового знания о предмете. В отличие от аналитического в синтетическом суждении предикат приписывает субъекту некое новое свойство, обладание которым не следует из факта существования субъекта (например, вещи тяжелы). Синтетические высказывания содержат некую новую информацию. Несомненно, со времен Канта философия изменилась, и теперь к аналитическим суждениям относят суждения типа « 7 – простое число», «Если $A > B$, то $B < A$ » и т.д.

Философия исходит из существования формальных языков, которые являются моделями для построения научных языков. Создавая формальный язык, мы создаем совокупность аналитических высказываний, то есть высказываний, истинность которых непосредственно следует из самого языка, в котором они были сформулированы. Синтетические же высказывания касаются фактов.

Вторая догма – редукционизм. Эта догма нашла выражение в деятельности ранних неопозитивистов, которые декларирова-

¹ См.: Куайн У.В.О. Две догмы эмпиризма / С точки зрения логики. 9 логико-философских очерков. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. С. 45–80.

ли возможность представить все научное знание в виде совокупности протокольных выражений, представляющих факты. Эти протокольные выражения должны были быть связаны логическими связками (и, или). Позже произошел отказ от столь явного редукционизма в пользу опосредованного. Опосредованный редукционизм заключался в признании некоего значения и за общими теориями в деле регулирования взаимоотношений между протокольными выражениями. То есть протокольные выражения продолжают отражать реальные факты, но появляются и общие теории, связанные с протокольными выражениями с помощью дедукции.

Что значит выявить догмы? Это значит их зафиксировать. Куайн полагает, что последовательное проведение редукционизма требует признания дихотомии аналитических/синтетических суждений и наоборот. Действительно, одна догма поддерживает другую следующим образом: «Поскольку вообще признается значимым говорить о подтверждении и неподтверждении высказывания, по-видимому, значимо говорить и о предельном виде высказывания, которое подтверждается бессодержательно, *ipso facto*, чем угодно; и такое высказывания является аналитическим»¹. То есть у нас есть предложение *A*, мы хотим сопоставить его с опытом, но в действительности мы не можем сопоставлять это единственное предложение с опытом, нам необходима конъюнкция *A*, *B* и *C*, и только она адекватно может быть сопоставлена с опытом. Но встает вопрос, что подтверждается опытом *A*, *B* или *C*? Для ответа на этот вопрос необходимо предположить, что *B* и *C* – аналитические высказывания и истинны уже в силу самого языка, на котором сформулированы. С другой стороны, редукционизм помогает поддерживать дихотомию аналитических/синтетических суждений. Возьмем такое аналитическое суждение «Все холостяки – не женаты». В обосновании этого суждения скрыто используется редукционизм, поскольку мы в том или ином виде вынуждены обращаться к опыту для проверки этого суждения на аналитичность. То есть мы эмпирически устанавливаем ряд признаков, соответствие которым и формирует наш вы-

¹ Куайн У.В.О. С точки зрения логики. 9 логико-философских очерков. С 73.

бор в пользу отнесения суждения к классу аналитических или синтетических.

Лейтер вслед за Куайном отмечает, что «...не существует подлинного разделения между утверждениями, “истинными в силу значения” и “истинными в силу факта”, либо между “необходимыми” и “случайными” истинами; есть просто социально-исторический факт, что в любой рассматриваемой точке в истории исследования имеются как утверждения, от которых мы вряд ли откажемся в случае их противоречия непокорному эмпирическому свидетельству, так и утверждения, которые при таком противоречии мы оставим вполне охотно»¹. Неудовлетворенность обращения к концептуальному анализу и интуициям, которые являются, по мнению Лейтера, несостоятельными с эпистемологической точки зрения, привели его к постулированию «натуралистического метода», в рамках которого возможно выделение двух взаимодополняющих тезисов: *содержательного тезиса*, в основании которого лежит допущение, что в отношении вопросов о том, что есть и что мы можем знать, у нас нет ничего лучше, чем успешная научная теория; *методологического тезиса*, указывающего, что, поскольку философия занимается тем, что есть и что мы можем знать, она должна действовать как абстрактная отрасль успешной научной теории².

Попробуем теперь разобраться, какое значение имеет куайновский проект натурализации эпистемологии для методологических дискуссий в философии права. Лейтер утверждает, что отрицание Куйном дистинкции аналитическое/синтетическое расчищает дорогу для натурализма в философии права, поскольку, как и философия, философия права должна стать эмпирической и полностью раствориться в социальных науках. В равной мере это относится к концептуальному анализу – исследовательскому методу аналитической юриспруденции; «...если уйдут аналитические суждения, то же самое произойдет и с концептуальным анализом: поскольку любое утверждение, выдвинутое в рамках кон-

¹ *Leiter B. Beyond the Hart/Dworkin Debate: The Methodology Problem in Jurisprudence // American Journal of Jurisprudence. 2003. Vol. 17. P. 39.*

² *Leiter B. Beyond the Hart/Dworkin Debate: The Methodology Problem in Jurisprudence. P. 46.*

цептуального анализа, уязвимо перед апостериорной (то есть эмпирической) теоретической конструкцией, философии следует действовать в тандеме с эмпирической наукой, не в качестве судьи, оценивающего ее утверждения, но в качестве рефлексивной попытки синоптической ясности в отношении состояния опытного знания»¹. Как мы видим, утверждение Лейтера основано на элиминировании различий между концептуальными и эмпирическими проблемами. Но что тогда представляет собой концептуальный анализ и так ли он уязвим перед критикой Куайна или Лейтера?

Как отмечают Д. Паттерсон и Дж. Обердик, и Куайн, и Лейтер ошибаются в том, что рассматривают концептуальный анализ в качестве единственного метода философского исследования, причем напрямую зависящего от дистинкции аналитическое/синтетическое. Паттерсон и Обердик предлагают четыре различных, но взаимосвязанных модификации (вернее, разновидности) концептуального анализа, которые куайновский натурализм не в силах поставить под сомнение, и результаты приложения которых для юриспруденции намного эффективнее, чем что бы то ни было из предложенного Лейтером или Куайном².

Первый вариант, выражаясь словами Ф. Джексона, является наиболее распространенной концепцией, указывающей, что «концептуальный анализ заключается в выявлении времени появления и наличия подтверждения истинности какой-либо статьи одного словаря каким-либо другим словарем, более фундаментальным»³. Согласно этому подходу концептуальный анализ является необходимой предпосылкой ответа на вопрос об онтологической редукции, то есть той разновидности редукции, которая имеет место, когда утверждается, допустим, что гены – это сегменты ДНК. Поэтому чтобы объяснить каузальные отношения между какими бы то ни было (особенно научными) понятиями и тем, что они обозначают, всегда приходится иметь дело с априорным анализом понятий более высокого уровня.

¹ *Leiter B.* Beyond the Hart/Dworkin Debate: The Methodology Problem in Jurisprudence. P. 45.

² *Oberdiek J., Patterson D.* Moral Evaluation and Conceptual Analysis in Jurisprudential Methodology // *Current Legal Issues: Law and Philosophy*, 2007. Доступно в SSRN: <http://ssrn.com/abstract=925628>

³ *Jackson F.* From Metaphysics to Ethics: A Defense of Conceptual Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1998. P. 28.

Иными словами, суть анализа этой умеренной формы заключается в том, что анализ призван показать, как и насколько один ряд терминов редуцируем до другого ряда, или установить, как изменяется постулирование традиционной теории в связи с появлением новой теории. Джексон утверждает, что эта форма метода схожа с куайновским методом парафразы, где «целью была бы не синонимия, а всего лишь приблизительное выполнение вероятных задач исходных предложений»¹, или «если мы перефразируем предложение, чтобы устранить двусмысленность, мы ищем не синонимичное предложение, но – более информативное, посредством сопоставления некоторым альтернативным интерпретациям»².

Второй тип концептуального анализа называется «терапевтическим». Он исходит из предположения, что основной задачей философии является обнаружение и устранение бессмысленных утверждений. Концептуальный анализ данного вида направлен на излечение мышления и речи от смещения метафизических понятий. Аппликация терапевтического философского анализа позволяет исправить *ненормальное* поведение в мышлении и речи, устранить неясности, иллюзии и странности или, по крайней мере, их обнаружить.

Третья форма концептуального анализа может быть определена как «концептуальное теоретизирование». К.Э. Химма описывает его так: «Концептуальный анализ пытается теоретизировать <...> интуиции и основные конвенции через установление глубинных метафизических обязательств, которые либо подразумеваются, либо предполагаются этими интуициями, равно как и через определение более общих принципов, которые объяснили бы эти интуиции или конвенции. Несмотря на то, что это можно расценивать в качестве ясного философского предприятия или не расценивать в качестве такового, но очевидно, что оно выходит далеко за пределы определенных эмпирических задач по фиксации общих интуиций или основных конвенций»³. Однако эта форма концептуального анализа также не может избежать мета-

¹ Куайн У.В.О. Слово и объект. М.: Логос, Праксис, 2000. С. 167.

² Куайн У.В.О. Слово и объект. С. 121.

³ Himma K.E. Reconsidering a Dogma: Conceptual Analysis, the Naturalistic Turn, and Legal Philosophy // Current Legal Issues: Law and Philosophy, 2008. Доступно в SSRN: <http://ssrn.com/abstract=952910>

физических требований. Химма отмечает, что даже у лингвистических конвенций, в которые мы вступаем, есть метафизические импликации. Например, предложение «2 является четным числом» подразумевает, что существует нечто, что мы обозначаем термином «2»; а поскольку предложение «мы не можем прикоснуться к 2» истинно, из этого следует, что 2 существует как абстрактный объект – это и есть метафизическое требование. Точно так же, если концептуальной истиной является то, что каждый холостяк является неженатым мужчиной, из этого следует, что невозможно быть женатым холостяком, поэтому требования возможных случаев находятся за пределами случайных эмпирических свойств нашего мира и являются по сути метафизическими. Концептуальный анализ не может сосредоточиваться исключительно на содержании понятий; он не может избежать предъявления метафизических требований по отношению к миру, несмотря на то, что они не являются абсолютными и, в том смысле, не могут не зависеть от той концептуальной схемы, в рамках которой они сформулированы.

Четвертая – это так называемая упрощенная версия концептуального анализа, не предполагающая, в отличие от версий, указанных выше, редукционизма и метафизических обязательств, но позволяющая через *переописание* установить исходные посылки или концептуальные основания. Суть концептуального анализа, как выражается Дж. Колман, заключается в «раскрытии наиболее характерных черт понятия, а именно, тех, что наиболее отчетливо проявляются при объяснении вещи, и имеют лингвистическую форму “понятие чего-то” [the concept of] – именно они имеют решающее значение для нашего понимания»¹.

Анализ специфических версий концептуального анализа и границ его применимости позволяет Паттерсону и Обердику утверждать, что, во-первых, не существует единственной формы экспликации этого философского метода, во-вторых, и это следует из первого тезиса, под критические аргументы Куайна, изложенные в «Двух догмах эмпиризма», попадает лишь наиболее радикальная версия концептуального анализа (представленная первой версией), тогда как остальные остаются без внимания. И, наконец, в-третьих, остается непонятным, несмотря на крити-

¹ Coleman J. The Practice of Principle. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 179.

ку Лейтера, как можно обойтись без применения концептуального анализа при исследовании правовых понятий¹.

Действительно, дескриптивный концептуальный анализ в классическом виде заключается в том, что он представляет собой априорную деятельность, которая стремится прояснить содержание понятия, рассматривая интуиции в отношении возможных случаев. Джексон так описывает подобную методологическую стратегию: «...концептуальный анализ осуществляется посредством обращения к тому, что представляется нам наиболее очевидным и значимым [относительно рассматриваемого понятия]... что обнаруживается нашей интуицией в отношении возможных случаев»². По мнению Джексона, наши обыденные интуиции в отношении понятий (или наша «народная теория», как он ее называет) позволяют нам понять содержание анализируемых понятий. Согласно этой концепции соответствующие интуиции являются чисто дескриптивными и не содержат моральных интуиций, например, в отношении добра или зла. В этом смысле распознавание содержания понятия не предполагает фокусирование на нормативных моральных принципах³, даже тогда, когда понятия используются для оценки поведения. Например, для надлежащего анализа понятия «право» нет необходимости распознавания существующих стандартов понимания справедливости (Р. Дворкин, наверное, не согласился бы с подобной точкой зрения, поскольку, по его мнению, невозможно распознать содержание интерпретируемых понятий вне нормативной концепции морали, которая высвечивает то, что лучше с этической точки зрения⁴), хотя такие стандарты, наверное, были бы важны при ответе на вопросы вроде, какое право должно быть у определенного общества.

Джексон различает умеренную и неумеренную версии концептуального анализа. Согласно *неумеренной версии*, концепту-

¹ Oberdiek J., Patterson D. Moral Evaluation and Conceptual Analysis in Jurisprudential Methodology // Current Legal Issues: Law and Philosophy, 2007. Доступно в SSRN: <http://ssrn.com/abstract=925628>

² Jackson F. From Metaphysics to Ethics: A Defense of Conceptual Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1998. P. 31.

³ См.: Coleman J. The Practice of Principle. Oxford: Oxford University Press, 2001. 248 p.

⁴ См.: Дворкин Р. О правах всерьез. М.: РОССПЭН, 2004. С. 210–251.

альный анализ позволяет нам понять, каким является мир; то есть анализ содержания понятия, например, «право» позволил бы нам понять сущностную природу права, которая на самом деле не зависит от наших понятий. Концептуальный анализ *умеренной версии* описывает содержание понятия, распознавая свойства, отличающие возможные случаи, к которым оно применяется, от других возможных случаев, в отношении которых оно не применяется; этот анализ не описывает мир как нечто находящееся вне наших понятий. Сам Джексон придерживается умеренной версии концептуального анализа. Однако если традиционный концептуальный анализ умерен по своему характеру, то Джексон преуменьшает роль наших лингвистических методов в определении содержания понятий. Действительно, критики традиционного концептуального анализа, типа Куйана, допускают, что если бы мы использовали символ «вода», чтобы обратиться к чему-то другому, чем к прозрачной жидкости, то тогда не было бы концептуальной истиной то, что вода – это H_2O , хотя непременно существовала бы некоторая концептуальная истина, соответствующая отношению между определенным понятием и H_2O . Понятия могли бы быть абстрактными объектами, независимыми от наших действий, но язык – это социальная конструкция, основанная на социальных практиках, конвенциях; и то, какие понятия язык признает релевантными, определяется содержанием этих социальных практик.

Это допущение предполагает признание некорректным применение традиционной методологии дескриптивного концептуального анализа. Хотя философы права и пытаются часто оправдать свои концептуальные притязания обращением к «обыденным интуициям», но будет преждевременным, считает Химма, безоговорочно согласиться с тезисом. Интуиции, которые, действительно, имеют значение для концептуального анализа, являются по сути общими представлениями, связанными основными конвенциями в отношении того, как использовать соответствующие понятия. Традиционный концептуальный анализ в большей степени, хотя и не всецело, связан с идеей, что понятия являются смыслами или значениями. В этом смысле концептуальный анализ направлен на распознавание содержания смысла соответствующего слова; этот анализ обычно осуществляется посредством распознавания свойств, которые позво-

ляют отличить одни вещи, которые подпадают под соответствующее понятие, от других вещей. Эти отличительные свойства выражаются в форме необходимых и достаточных условий употребления понятия: так, например, если отличать право от неправа при наличии у обоих некоего общего свойства P1 и отличительных свойств P2 и P3, то для каждого X будет верно, что X есть право, если и только если X обладает свойством P1 и свойством или P2 или P3¹.

Попробуем эксплицировать применение техники концептуально-го анализа в праве на примере его базовой категории – нормы права. Норма права по своей природе относится к классу директивных (деонтических) высказываний. Это тип высказываний, который устанавливает ценности, тогда как дескриптивные высказывания направлены на то, чтобы описывать факты. Когда мы утверждаем, что запрещено убивать, то нашей целью не является описание того, каковы факты, но создание определенной линии нашего поведения, согласно которой мы не должны убивать, и если кто-то убьет, то он будет наказан, что тоже относится к линии нашего поведения. Таким образом, директивные высказывания указывают на то, как мы должны вести себя в конкретной фактической ситуации. Наше поведение в этом случае описывается не дескриптивно, другими словами, из представленной нормы не выводимо, что мы будем себя вести именно таким образом во всех ситуациях, когда произошло убийство, но является эталоном или нашим решением о том, как мы должны действовать в данной ситуации. Практически все юридические конструкции представляют собой решения о линиях поведения.

Так, вводя в уголовное право принцип вины, мы принимаем решение о том, что «лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина и объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается» (ст. 4 УК РФ). Принимая решение, мы получаем возможность оценивать факты как значимые или не значимые для того, чтобы мы принимали какое-то конкретное решение. Так, например, для того чтобы принять положительное решение по

¹ *Himma K.E.* Editor's Introduction. From the issue entitled "Special Issue on Brian Leiter's Naturalizing Jurisprudence" // *Law and Philosophy*. 2011. Vol. 30, № 4. P. 377–379.

делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), нет необходимости устанавливать следующий факт: «Человек, высказывавший угрозу, имел намерение исполнить угрозу», тогда как надо установить факт, что у потерпевшего имелись основания воспринимать угрозу как реальную.

Таким образом, когда мы создаем нормы, мы оцениваем некоторые факты как менее значимые, но из этого не следует, что мы устанавливаем, что такое на самом деле угроза в том смысле, что истинная угроза – это такая угроза, когда один угрожает другому, а тому, кому угрожают, угроза кажется реальной независимо от того, имело ли место намерение исполнить угрозу – будет представлять собой истинную угрозу, а остальные – нет. С другой стороны, нет никакой необходимости и возможности описательно критиковать угрозу или оскорбление в юридическом смысле как угрозу или оскорбление, которые понимаются неправильно или являются неистинными угрозой или оскорблением, так как иерархия фактов как менее значимых или более значимых не является описательной проблемой, но представляет собой наши решения. Эти решения могут быть изменены, и мы, например, можем ввести принцип объективного вменения, а относительно угрозы решить, что для осуждения по ст. 119 УК РФ необходимо установить факт, что угрожающий намеревался исполнить угрозу. Следовательно, мы способны относиться к фактам по-разному, и это не влечет релятивизма и конвенционализма.

Таким образом, концептуальный анализ может принимать форму исследования используемых понятий через определение значений лингвистических терминов. Целью концептуального анализа, как мы смогли убедиться, должно считаться раскрытие исчерпывающего репрезентативного содержания (или значения) некоторого правового понятия («субъективное право», «ответственность» и др.), а результатом – дефиниция этого понятия, в которой, как правило, специфицируются необходимые и вместе с тем достаточные условия его применения в определенных лингвистических контекстах. Кроме того, концептуальный анализ применительно к правовой сфере рассматривается как способ обнаружения «схемы» или «карты» априорных, необходимых концептуальных истин и категорий, которые провозглашаются условиями возможности языка как средства концептуализации опыта мира.

3. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА ГЕРБЕРТА ХАРТА В КОНТЕКСТЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА

3.1. ФИЛОСОФИЯ ДЕЙСТВИЯ И ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ

Конкретные поведенческие стратегии индивида, особенно интенциональная составляющая этих стратегий, всегда были и остаются предметом дискуссий во всех отраслях гуманитарного знания, будь то философия сознания, когнитивная психология, прагматическая семантика или философия права. Для ответа на вопрос «Сделал ли *X* нечто намеренно?» эвристическое значение имеет именно исследование контекста, в котором осуществляется это говорение. В обыденном языке для ответа на этот вопрос действует презумпция, что если человек делает нечто, он делает это намеренно. Поэтому при обычном повествовании, описывающем действия, совершенные при *нормальных* обстоятельствах, было бы бессмысленным утверждать, что человек сделал нечто намеренно. Но актуализация подобного вопроса в нестандартном типе дискурса, а именно в юридическом, имеет интересные особенности, фиксация которых может способствовать раскрытию содержания интенциональности в философии языка Харта и выявлению специфических черт его подхода к анализу этого понятия. Через контекстуальный анализ понимания намерения в этом разделе будет представлена попытка прояснить значение понятий «действие», «решение» «мотив» и др., часто используемых в теории уголовного права, а также будет доказано, что, поскольку правовые правила характеризуются представительнo-обязывающим характером, то есть облекаются в лингвистическую форму императива, то исследование императивности, в том числе правовых правил, позволит пролить свет на вопрос об их интенциональности.

С ответа на вопрос «Какой анализ понятия “человеческое действие” можно считать правильным?» начинается формирование поведенческой стратегии, представляющей собой совокупность интенциональных установок и стимулов для совершения определенного действия. Харт, пытаясь ответить на этот вопрос, пришел к выводу, что данный анализ возможен только при правильной интерпретации употребления глагола «делать», так как использование этого глагола в настоящем и будущем времени дескриптивно, однако в прошедшем времени, как в предложении «Это сделал он», он используется главным образом аскриптивно (с. 177). Именно это онтологическое допущение Харта и будет представлять в данной работе особый исследовательский интерес, поскольку оно не только фундирует философию языка Харта, но имеет эвристическое значение для прояснения и устранения многих правовых вопросов.

Харт утверждает, что и традиционный и современный анализ понятия «человеческое действие» неправильны, потому что эти подходы направлены на определение понятие через формулирование необходимых и достаточных условий его применения. Сказать «*X* совершил действие *A*» с точки зрения и традиционного, и современного анализа – значит сказать нечто, что может быть выражено категорическими суждениями, описывающими, соответственно, движение тела *X* и его психологическое отношение к содеянному. Харт считает логику этих подходов ложной, потому что предполагается, что понятие «человеческое действие» может быть определено только через дескриптивные высказывания, касающиеся отдельного индивида. Дескриптивные высказывания не пригодны для анализа предложений типа «Это сделал он». Поэтому признается ошибочным анализ понятия человеческого действия, идентифицирующий значение недескриптивного произнесения, приписывающего ответственность, с фактическими обстоятельствами, которые подтверждают приписывание или являются его достаточными причинами. Потому что факты относятся к правовым выводам так, как суждения о фактах могут относиться к дескриптивным высказываниям, которые они подтверждают. Вневременный правовой вывод не влечет подтверждающее его высказывание о временном факте. В этом смысле невозможно провести различие между предложением «Его тело

столкнулось с другим телом» и «Он его ударил» без ссылки на *недескриптивное* употребление выражений, посредством которых приписывается ответственность. Описание человеческого действия не то же самое, что описание его телодвижения или ментального фактора, побудившего к этому. Здесь и далее мы попытаемся обосновать, что предложения типа «Он его ударил» не *описывают*, а *приписывают* права и ответственность.

Отрица физический и психологический компоненты действия, Харт пришел к выводу, что понятие действия не дескриптивно, но аскриптивно; оно представляет собой отменяемое понятие, определяемое посредством исключений, а не посредством множества необходимых и достаточных условий, физических или же психологических, то есть отменяемость юридических понятий конституирует их аскриптивную природу. Более подробно об аскриптивности как онтологическом свойстве правовых понятий мы рассмотрим в следующих разделах. Сейчас лишь отметить, что подобная интерпретация действия предполагает, что свойства недескриптивности и аскриптивности в отношении юридических терминов следует понимать как тождественные. А отменяемый характер юридических терминов, который доказывает их аскриптивность и недескриптивность, – эксплицировать через перечисление исключений, которые должны отсутствовать, чтобы применить определенную правовую норму.

Для лучшего понимания значения понятия «действие» следует обратиться к рассмотрению простейших (стандартных) шахматных правил. Итак, что представляет собой понятие «шахматный ход»?». Есть несколько вариантов ответа на этот вопрос. Чтобы совершить «шахматный ход», во время игры я просто передвигаю шахматную фигуру, то есть я при помощи своих рук перемещаю фигуру с одного квадрата шахматной доски на другой. Однако пока мы сосредоточиваем свое внимание на физических (передвижение фигуры) и психологических (передвигая фигуру, я тем самым *совершаю* «шахматный ход») процессах, мы не сможем отличить «шахматный ход», сделанный шахматистом, от простого (непродуманного) перемещения им фигур. Сделать «шахматный ход» означает совершить телодвижение особого рода, причем высказывание, что выполнено некое действие, не дает нам оснований утверждать, что имело место определенное тело-

движение. В противном же случае, действие имело бы место всегда, когда были совершены соответствующие движения пальцев, рук или ног и т. д. Ошибочность последнего тезиса подкрепляется следующими соображениями.

Во-первых, если согласиться с точкой зрения, что если в предложениях, описывающих действия, непременно содержался бы дескриптивный компонент, то я мог бы знать о том, что я сделаю в любой конкретной ситуации; я должен буду знать, какие телодвижения будут иметь место, и это я могу знать только, наблюдая мои собственные движения. Если кто-то меня спросит «Вы знаете что Вы сделали?», то мой утвердительный ответ должен основываться на наблюдении моих собственных физических движений. Высказывание «Когда я делаю что-то, я знаю то, что делаю» не влечет того, что, произнося его, я наблюдаю за собой в действии, поскольку в противном случае мне пришлось бы одновременно и делать нечто и наблюдать за движениями своего тела, делающего это нечто.

Во-вторых, тот, кто не знает правил игры в шахматы, видит только перемещение фигур по расчерченной на черно-белые квадраты поверхности руками двух людей; но тот, кто знает правила, видит, как происходит «наступление» или проводится «защита». Сторонний наблюдатель просто не знает (не понимает), что *происходит* во время игры, и его дескриптивные предложения, описывающие действия игроков, будут существенно отличаться от высказываний наблюдателя, знающего правила шахмат.

В-третьих, предположим, что суждение, описывающее действие, представляет собой смешение различных компонентов, одним из которых является описание телодвижений, то есть дескриптивный компонент. Каково же тогда значение этого «дескриптивного компонента» для этого суждения? Принятие традиционной аргументации ведет к так называемому регрессу в бесконечность, ибо для идентификации одного дескриптивного компонента требуется другой дескриптивный компонент более высокого порядка, для этого компонента – другой и т.д. Этот ход мыслей, так же как и предположение, что мы можем говорить о независимости «подлинного» действия от нашего фактического употребления глаголов действия, порождает известные, но нежелательные парадоксы. Поэтому «подлинными действиями» (если таковые имеются) в конечном счете будут только *минимальные* движения,

которые мы можем осуществить с нашим телом, где ничего «не может» пойти неправильно. Эти парадоксы есть результат того, что «действие» считается дескриптивным понятием, определяемым с помощью множества необходимых и достаточных условий. Основная ошибка данной точки зрения заключается в том, что то, что происходит, когда действие выполнено, может быть понято независимо от контекста его совершения, и, следовательно, представляет собой лишь телодвижение. Напротив, действие является контекстуально обусловленным понятием, как мы далее сможем убедиться.

Рассмотрим ситуацию, в которой *делается* (совершается) шахматный ход. Можно поддаться искушению и определить шахматный ход как некое физическое и психологическое явление или утверждать, что это понятие «недескриптивно» или «неопределимо». Однако очевидно, что данное понятие имеет социально обусловленный характер и логически связано с понятием правил. Как верно отметил Витгенштейн, «игра становится именно шахматной игрой благодаря всем ее правилам»¹. Как эта связь с понятием правил позволяет нам различить действия ребенка, беспорядочно передвигающего шахматные фигуры, и действия шахматных игроков? Это различие возможно только в ситуации *следования* или *наблюдения* соответствующих правил.

В основании любого правила лежит идея повиновения или следования ему. Дети, передвигающие фигуры по шахматной доске, не повинуются и, следовательно, не нарушают шахматных правил – они в принципе не *играют* в шахматы. В этом смысле шахматист может нарушить правило только в том случае, если он усвоил идею повиновения ему. Далее, правило не есть суждение, которое мы можем понять вне практики повиновения или следования правилам. Понять правило означает понять идею повиновения, заключенную в правиле. Следовать или повиноваться правилу не то же самое, чего требует правило, поскольку каждый раз приходится искать то, к чему правило применяется, а затем решать – повиноваться ему или нет. Однако подобная точка зрения, если она была бы верной, служила бы только для того, чтобы породить сомнение, что данный индивид изучил правило. Как только мы изучили правила, мы не интерпретируем правило относи-

¹ Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994. С. 161.

тельно данной ситуации и не следуем ему с намерением повиноваться – мы просто повинемся. И если в данной ситуации мы принимаем решение не повиноваться, такой выбор вообще не является выбором. Невозможно, чтобы правилу следовал только один человек, и всего лишь однажды¹. Следование правилу заключается в приобретении обычая, привычки, практики. Нельзя утверждать, считает Витгенштейн, что каждый отдельный (индивидуальный) случай действия по привычке или обычаю – факт следования правилу. Однако известные случаи следования правилу суть случаи, в которых агент приобрел привычку, практику, обычай – образ мыслей и действий, характеризующий человека, следующего соответствующим правилам. Поэтому мы должны различать случаи, когда кто-то соглашается с правилом, и когда кто-то следует правилам. Ребенок может передвинуть «пешку», назвав ее «конь» с одного квадрата на шахматной доске на другой таким способом, что этот ход будет согласовываться с правилом «пешки», поэтому для сообщения этого факта нам надо лишь наблюдать единичное его поведение. Можем ли мы сказать, что ребенок *следует* правилам, перемещая «пешку», названную «конем», по правилам «пешки»? Можем ли мы сказать, что он *знает* правило хода пешки? В случае с ребенком более важен вопрос – изучил ли ребенок правила игры и, следуя им, приобрел ли он особый образ мыслей и действия, что является игрой в шахматы?

Понять «движение» (шахматный ход) в игре в шахматы с точки зрения физических и психологических процессов, происходящих тогда, когда агент производит свое движение, – значит упустить то, что существенно для движения, – факт того, что результатом этих процессов есть следование правилу. Точно так же, чтобы уяснить понятие «шахматист» с точки зрения происходящих психологических процессов (результат восприятия или некая предполагаемая психическая субстанция), – значит проигнорировать ту особенность агента, которая заключается в факте, что он, изучив повторяющиеся в игре действия, и, следовательно, приобрел некую практику того, что он делает. В обоих случаях обстоятельства, при которых происходят физические и психологические процессы, крайне важны; поскольку в первом случае движение – отчасти

¹ Витгенштейн Л. Философские работы. С. 162.

факт следования правилам, а во втором случае агент становится шахматистом, то есть приобретает некую привычку или практику (образ мыслей или действий), посредством следования правилам шахмат. «Шахматист» и «шахматный ход», таким образом, есть коррелятивные понятия, ни одно из которых не может быть понято с точки зрения физических или психологических процессов, рассматриваемых в отрыве от изученных правил и характерных образов мыслей и действий, достигнутых в результате следования правилам. Следовательно, «шахматный ход» это не перемещение «пешки» с одного квадрата на другой, но телодвижение агента, который в течение игры демонстрирует приобретенную практику действий. Для того, кто не знает, что означает «сделать ход в игре» (совершить определенное действие), сообщение о том, что происходит, когда «делаются ходы», вообще не будет иметь смысла, и наблюдение также не дает *представления* о том, что происходит. Для того, кто не знает правил шахмат, но понимает, что происходит следование правилам *некой* игры, сообщения о происходящих действиях будут поняты только самым фрагментарным образом; он может знать, что играют в игру, но не знать в какую именно.

Так происходит потому, что мы самостоятельно приобретаем практику следования шахматным правилам – выполнение на шахматной доске определенных действий так, как мы их понимаем, сообразно с тем, как это делают другие, когда играют в шахматы, – что мы понимаем сообщения о том, что происходит во время игры, и признаем их в качестве истинных или ложных. Значение произнесения, через которое мы сообщаем о действиях на шахматной доске, таким образом, зависит от факта, что мы разделяем с вовлеченными в эти действия некую практику, то есть, как отмечал Витгенштейн, форму жизни тех, кто следует определенным правилам социального взаимодействия, например игры в шахматы¹.

Все это можно допустить; но можно этому и возразить, что «шахматный ход» представляет собой лишь особый вид действия. Мы совершаем действия всевозможными способами, даже когда мы убираем фигуры с шахматной доски, заканчивая тем

¹ См. подробнее о следовании правилу: *Ладов В.А.* Иллюзия значения: проблема следования правилу в аналитической философии. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. С. 66–171.

самым игроу. С этим можно согласиться, но случай с «шахматным ходом» тем не менее важен, поскольку сама искусственность данного примера позволяет напомнить нам о том, о чем легко забывается в случае с другими типами действий, а именно: о перво-степенной важности практического контекста общих или всеми разделяемых практик, включающих в том числе и следование правилам. Этот практический контекст очень важен для понимания различия между телодвижением и подлинно действием. Поэтому правильно описать что-либо можно только правильно задав контекст соответствующего употребления глаголов. Отчасти поэтому и невозможно полное описание, так как невозможно описать полный контекст. Правила в этом смысле представляют собой нормы или границы контекста.

Кстати, идея шахматных правил удачно согласуется с анализом юридической действительности (*legal validity*). В частности, А. Росс утверждает, что шахматное правило, например слон должен «ходить» по диагонали, является «действительным шахматным правилом», только если игроки постоянно «ходят» слоном именно таким образом, и они потому совершают подобные действия, что вынуждены следовать этому образцу поведения. Соответственно, правило, при этих обстоятельствах, есть нечто, что, во-первых, позволяет нам понять или интерпретировать действия игроков как последовательно мотивированный поступок и, во-вторых, предсказать их будущее поведение. Поэтому формула-правило служит и «схемой интерпретации», и основанием предсказания. Учитывая это, возможен следующий анализ юридической действительности. Для судов правовые правила являются, по сути, директивами применения санкций при определенных условиях. Утверждение о том, что правовое правило действительно равносильно тому, что суды при определенных условиях будут его применять или, по меньшей мере, рассматривать в качестве правила, имеющего особую значимость в формировании судебных решений, и подобное поведение судов будет обусловлено их эмпирическим опытом «следования» правилам¹.

¹ *Ross A. On Law and Justice. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1959. P. 17–18.*

Однако, отмечает Харт, понятие юридической действительности некоторым образом отличается от шахматного правила, с которым Росс его сравнивает, и в большей степени от исхода игры. Когда шахматист записывает ход или очко, с учетом решающих этапов игры, которые учитываются для победы, он использует принятое, неустановленное правило. Он не предсказывает ни собственного поведения или чувств, ни других, не создает какой-либо формы фактуального утверждения о работе системы. Искушение исказить такие внутренние утверждения, в которых употребление определяется неустановленным, принятым правилом или критерием признания, как в случае с внешним утверждением о факте, предсказывающим нормальную работу системы, связано с тем, что безусловное принятие правил и эффективность системы – действительно, *нормальный контекст* создания таких внутренних нормативных утверждений. *В большинстве случаев* бессмысленно оценивать действительность правила (или ход игры) по правилам признания (подсчета очков), которые фактически не приняты другими или вряд ли будут приняты. Тем не менее мы иногда говорим так, главным образом для наглядности при изучении закона изжившей себя правовой системы, например классического римского права. Но этот обычный *контекст* эффективности, предполагаемый при создании внутренних утверждений, необходимо отличать от их нормативного значения или содержания¹.

Следует учитывать и принципиальную разницу между разрешающими (дозволяющими) правилами шахмат и обязывающими или оправдывающими (исключающими ответственность) правовыми правилами. Причем, если возникает конфликт между правовыми правилами (например, коллизионные нормы), то его разрешение или *неразрешение* никоим образом не повлияет на эффективность правовой системы, в то время как неправильно сформулированное (или порочное по другим причинам) шахматное правило может привести к разрушению самой игры как системы определенных правил.

И еще, если я не буду играть (понимать правила) в шахматы, то я не смогу понять действия шахматиста, когда его рука передвигает «пешку» с одного квадрата на другой, но если я не умею управлять

¹ Hart H.L.A. Scandinavian Realism // Cambridge Law Journal. 1959. Vol. 17. P. 239.

автомобилем, то из этого с необходимостью не следует, что я не способен понять, что приводит в движение автомобиль или что его останавливает. Поскольку те практики, которые мы разделяем с другими, не должны (и не могут) полностью совпадать, ибо действия людей разнообразны, но должно быть некое подобие между практиками, влекущими различные действия, чтобы понять один вид действия, который следует из практики, влекущий другой вид. Там, где нет такого подобия (например, человек никогда не слышал о какой-либо игре или никогда не видел автомобиль), нет понимания того, что делается, независимо от того насколько тщательно уделяется внимание телодвижению агентов, когда они играют в шахматы или управляют автомобилем¹.

Подобно понятию «шахматный ход», понятие «действие» нуждается в определенном контексте, обусловленном практикой следования правилам, учитывая соответствующие критерии и средства, ибо это важно для понимания различия между телодвижениями и действиями. Этот практический контекст – наша общая форма жизни – крайне важен для нашего понимания. Без его учета мы замечаем лишь телодвижения агентов, отождествляя их с действиями. Для того чтобы *понять* понятие «действие», нам необходимо видеть, как употребляются предложения, в которых используются соответствующие глаголы. Считается, что нет никакого единственного их использования. В некоторых предложениях они используются для поощрения или порицания (например, похожие по своей лингвистической структуре предложения имеют тем не менее различный экспрессивный эффект: предложение «Это сделал *он*» может быть произнесено для обвинения в чем-то, а предложение «Он *сделал* это» – для поощрения за что-то). Поскольку при обычном употреблении предложений, описывающих действие, мы приписываем ответственность индивидам, принимая физическое поведение за действие, и это мы можем делать, только если рассматриваем данную практику наряду с другими практиками наблюдения моральных правил и принципов.

¹ См. подробнее: *Суровцев В.А., Ладов В.А.* Витгенштейн и Крипке: следование правилу, скептический аргумент и точка зрения сообщества. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. С. 4–6.

Выражение формы «Он его ударил» означает, что некто совершил некоторое действие, которое понимается как утверждение выполнения определенных телодвижений и указывает на требование порицания или наказания за совершение этого действия. Поэтому необходимо различать ответственность за действия в совершении чего-то и ответственность на нечто сделанное, то есть то, к чему привело совершение определенных действий. При этом, с одной стороны, для интерпретации или квалификации действий достаточно восприятия наблюдаемых физических движений тела, и в таком случае произнесение дескриптивно, но, с другой стороны, наличие необходимых и достаточных условий не всегда достаточно, так как могут появиться некие новые обстоятельства, *отменяющие* характер представленного утверждения. И только в этом смысле предложения, описывающие действия, аскриптивны, но не дескриптивны.

При доказывании аскриптивной природы юридических терминов Харт столкнулся с так называемой теорией «ментального фактора», когда (на примере уголовного права) достаточным условием и необходимым основанием для возникновения уголовной ответственности является наличие «умысла» и возможности «предсказания своих действий», то есть определенной интенции, которая служила бы причиной поступков. Например, в российском уголовном праве данный принцип известен как принцип виновной ответственности, который гласит, что ответственность за действия определенного лица возникает только тогда, когда установлена его вина, то есть определенное психическое отношение этого лица к этому действию: «Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается» (ч. 2. ст. 5 УК РФ). Это объясняется тем, что вменение в вину деяния, общественную опасность которого лицо не предвидело и не могло предвидеть, было бы лишено справедливости и какого-либо предупредительного значения и поэтому отвергается правосудием. Таким образом, не впадая в дальнейшее изучение юридических тонкостей, теория «ментального фактора» – это теория, которая обосновывает дескриптивную природу юридических понятий, и на вопрос, виновен ли тот или иной человек в определенном проступке, мы должны ответить: виновен, если обнаружим у него в поступках «умысел».

Харт ответил на это затруднение, с одной стороны, раскритиковав понятие «умысла», «воли», «интенции» как туманных и трудно анализируемых, а с другой стороны, показав, что эти ментальные понятия раскрываются через перечисление конкретных физических условий, отсутствие которых гарантирует наличие этих загадочных сущностей, то есть Харту удалось вернуть рассмотрение проблемы правоприменения из области психологии в привычную область проблем взаимоотношения фактов и норм. Также Харт справедливо отметил, что теория ментального фактора дополнительно объясняет отличие человеческого поведения от физических явлений, которые тоже происходят и от поведения животных. И, в общем, теория ментального фактора служила объяснением человеческого рационального поведения. В связи с этим возникает вопрос, если ментальные понятия больше не являются основанием рационального поведения, то что могло бы стать таким основанием? Цена данного вопроса (который Харт не затронул) достаточно высока, и от ответа на него зависит окончательное решение о признании юридического дискурса недескриптивным и дальнейшее рассмотрение этого вопроса в рамках философии без привлечения психологии.

Г. Райл отмечает интересный факт зависимости теории ментального фактора от того, что он обозначил «интеллектуальными способностями», то есть от сознания, мышления и разума. Когнитивные способности и сам процесс познания при правильной методологической интерпретации могли и не приводить к постулированию ментальной сферы событий. Используя достижения лингвистического поворота, процесс познания и его руководящие факторы можно интерпретировать, не ссылаясь на недоступные наблюдению эпизоды из внутренней жизни индивида. В этом случае познавательные способности редуцируются до способностей пользоваться языком или до способности понимать и употреблять слова в языке, а различия «между описанием бессознательно совершенного действия и описанием физиологически сходного с ним действия, но выполненного целенаправленно, с расчетом или сноровкой... заключаются в отсутствии или наличии определенного рода поддающихся проверке объяснительно-предсказательных суждений»¹. Следовательно, рациональное по-

¹ Райл Г. Понятие сознания. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 34.

ведение – это поведение, для которого существует теория, описывающая его и предсказывающая его последствия, поэтому «интеллектуалистская легенда» ложна, и что, когда мы описываем действие как разумное, это не влечет за собой описания двойной операции обдумывания и исполнения.

Несмотря на то, что есть и другие подходы к анализу понятия «намерение», изложенные в работах Э. Энском, П. Грайса, Г. Райла, П. Стросона, Дж. Остина, Дж. Серла и др., но именно такие два способа употребления намерения, как в выражениях «совершение действия намеренно» и «намерение совершить действие в будущем», непосредственно связанные с действием и принятием решения, будут релевантны исследованию философии языка Харта.

В статье *Decision, Intention, and Certainty*¹ Г. Харт и С. Хэмпшир (далее – авторы) исследуют пару предложений «Я думаю, что это сделаю, но не уверен» и «Теперь я знаю, что сделаю», в которых просматривается знание человека о его собственных настоящих и будущих добровольных действиях. Основной тезис авторов заключается в том, что есть необходимая связь между определенностью, имеющей место в подобных выражениях, и решением сделать нечто, а также, что есть необходимая связь между подобной определенностью и намерением сделать нечто и деланием чего-то намеренно. Иными словами, из этих предложений логически выводятся: 1) «Я знаю, что это сделаю», 2) «Я решил это сделать», 3) «Я намерен это сделать», причем необходимая связь, на которую указывают авторы, имеется только между 1 и 2, 1 и 3 предложениями. Попытаемся разобраться, насколько обоснован этот тезис. Очевидно, что эти предложения не имеют эмпирического подтверждения, то есть не имеют отношения к фактам, что является, по мнению авторов, дополнительным стимулом для их исследования. Но прежде чем мы продвинемся дальше, нам следует сделать несколько допущений, способствующих не только прояснению позиции авторов, но и выработке собственной исследовательской стратегии. Нам кажется, что необходимо установить некоторое соответствие, во-первых, между «намере-

¹ Hampshire S., Hart H.L.A. Decision, Intention, and Certainty // Mind. 1958. Vol. 67. P. 1–12.

нием нечто сделать» и «формированием решения», во-вторых, между «деланием чего-то намеренно» и «принятием решения» и, в-третьих, разобраться, как в целом соотносятся понятия «намерение», «решение» и «определенность».

Под формированием решения понимается подготовка исходных данных и обработка их таким образом, чтобы были ясны последствия его принятия. Принятие же решения – это изучение различных вариантов их последствий и утверждение одного из них. Если человек утверждает, что способен с уверенностью (или определенно) предсказать свои действия в будущем, основывая свое предсказание на индукции, то он подразумевает, что рассматриваемые действия будут в некотором смысле, или в некоторой степени, недобровольными, неконтролируемыми. Если бы действие в предусмотренной ситуации было полностью добровольным, то ему необходимо решать, что он сделает. Авторы считают, что если ему предстоит решить, что он собирается сделать, то он должен оставаться неуверенным в том, что он сделает, до тех пор, пока он не принял решение или пока не сформировались его намерения. Наряду с принятием решения и обозрением тех, а не иных причин действия, человек должен находиться в состоянии неопределенности в отношении того, что он собирается сделать¹. Определенность возникает в момент решения и, действительно, конституирует решение тогда, когда определенность, явившаяся подобным образом, представляет собой следствие рассмотренных причин.

Но возможно ли принять решение без уже сформированного намерения его принять? Нельзя сказать «Я решил сделать *A*, но не уверен в этом», поскольку глагол «решить» употребляется в этом предложении в прошедшем времени, что указывает на уже принятое решение. Тем более было некорректным утверждать «Я решил сделать *A*, но не уверен в том, что сделаю *A*, быть может, сделаю *B*». Но что в этом случае является моментом принятия решения? Определенность конституирует решение, если она не является следствием фактов, то есть возникает в соответствующий момент принятия решения. Когда человек принял решение, то, говорят, он намеревается нечто сделать. Следовательно, моментом принятия решения является сформировавшееся намерение. Когда человек принял решение, то

¹ Hampshire S., Hart H.L.A. Decision, Intention, and Certainty. P. 2–3.

есть когда после рассмотрения причин всякая неопределенность в отношении того, что он собирается сделать, была устранена из его сознания, говорят, какое бы решение он ни принял, он намеревается нечто сделать.

Насколько обосновано утверждение авторов, что знание считается определенностью? Действительно, решение требует определенности. Принятие решения в условиях определенности предполагает, что, если под определенностью понимается ситуация, при которой каждому варианту решения известен вполне определенный набор последствий, то, во-первых, задача хорошо формализована (имеется модель решения), во-вторых, существуют критерии оценки качества принятия решения, в-третьих, можно предвидеть последствия принятия решения. Оперативные решения принимаются в условиях определенности. При этом параметры (характеристики), используемые в процессе принятия решения, определены, их оценка известна с требуемой точностью. Поэтому правильным было бы сказать, что знание есть следствие устранения неопределенности, а не определенность, как указывают авторы, в чем мы далее убедимся. Но решение может приниматься и в условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Это должно иметь место, когда требующие учета факторы настолько новы и сложны, что насчет них невозможно получить достаточно релевантной информации. В итоге вероятность определенного последствия невозможно предсказать с достаточной степенью достоверности. Неопределенность характерна для некоторых решений, которые приходится принимать в быстро меняющихся обстоятельствах. Эти задачи возникают при условии применения в процессе принятия решений, во-первых, неточной, неполной или слабо структурируемой информации, во-вторых, формальные модели либо отсутствуют, либо сложны, и, в-третьих, вероятности наступления событий не определяются. Существует измеримая неопределенность, то есть риск, и неизмеримая – собственно неопределенность. Риск считается на основе статистических данных, а неопределенность не вычисляется никак, ее величина устанавливается на основе субъективных знаний человека. Источниками неопределенности служат либо неполнота знаний о фактах или событиях, либо свойство объекта, которое принципиаль-

но невозможно измерить. Поэтому результатом принятия решения можно считать устранение неопределенности.

Является ли решение действием? Авторы считают, что решение не есть действие само по себе, но предварительное действие по выбору между двумя вариантами действия, поскольку решить сделать нечто не значит совершить действие. Действительно, можно возразить, что слово «решить» представляет собой действие, то есть нечто, что я *делаю*, и поэтому решение не может быть адекватно охарактеризовано, просто как приобретение определенности в отношении своих будущих (добровольных) действий. Можно склониться к утверждению, что определенность – это следствие или результат решения, и она должна отличаться от самого решения. Это допущение, по мнению авторов, не позволяет утверждать, что принять решение – значит совершить действие. Но такое предложение, как «Посоветовавшись, Суд принял решение», как раз и указывает на то, что Судом совершено определенное действие, поскольку это есть перформативное выражение с иллокутивной силой, а не просто утверждение.

Авторы предлагают различать индуктивную определенность, основанную на фактах, и определенность, основанную на причинах, причем последняя и есть *действие*. Анализ последней разновидности определенности как раз и позволяет пролить свет на понятие намерения. Есть два принципиальных момента, указывающих на то, как намерение связано с действием. Во-первых, когда человек нечто сделал, например ударил другого человека, то может возникнуть вопрос, сделал ли он это намеренно или ненамеренно, и это равнозначно вопросу, был ли он намерен или же нет сделать то, что он фактически сделал. Во-вторых, может возникнуть вопрос в отношении того, намерен ли человек или же нет выполнить некое действие в будущем; и подобный вопрос может возникнуть относительно его прошлого намерения совершить некое действие, даже если он не собирался его совершать.

В первом случае высказывание «Это он сделал намеренно» указывает исключительно на устранение указания на то, что он сделал нечто ненамеренно, где под «ненамеренно» понимается то, что то, что агент сделал, он сделал это случайно или по ошибке. Из этого следует то, что полное значение «намеренно» заключается лишь в отрицании им случайности или ошибки.

Согласно этой точке зрения анализ понятия делания чего-либо намеренно возможен только, во-первых, через описание соответствующего контекста использования слова «намеренно», отрицающего случайность или ошибку, и, во-вторых, через разъяснение случайности или ошибочности. При этом следует учитывать, что выражение «Это он сделал намеренно» означает гораздо больше, чем «Он не делал этого ненамеренно» или «Он не делал этого случайно или по ошибке», которые логически предполагаются первым предложением и уж тем более им не исключаются. Если действие является намеренным, то агент, по мнению авторов, должен обладать, во-первых, определенным эмпирическим (практическим) знанием того, что затрагивает его действия, а, во-вторых, агент должен знать последовательность своих действий и результат своего действия, то есть то, к чему приведет его действие. Например, *X* выстрелил в *Y*. Если спросить *X*, что он сделал, то ему пришлось бы определить свое действие как выстрел в *Y*, поскольку его намерение было направлено на поражение цели. Если *X* это признает, то знание того, что выстрел является результатом взрыва порохового заряда патрона, то есть знание фактов, не является необходимым и достаточным основанием намеренности в действиях *X*. И тем более необязательно знание последовательности действий, приведших к выстрелу (натяжение спускового механизма оружия, взрыв порохового заряда, выстрел и т.д.). Авторы отмечают, что *X* должен знать, что то, что у него в руке, – это огнестрельное оружие. В противном же случае действия *X* нельзя считать намеренными или что то, что он фактически сделал, он сделал это ненамеренно (случайно или по ошибке). Но если мы, следуя подобной аргументации, признаем, что определенность – это и есть знание (что весьма спорно, как мы убедились выше), то намерение *X* выстрелить в *Y* может обосновываться и индуктивной определенностью (эмпирическими фактами), для чего нет необходимости в знании механизма выстрела и знании того, что в руках – оружие, поскольку *X* может сказать, что он видел, как другие поражают цель, совершая определенные манипуляции с металлическим предметом, который они называли оружием. Возможно, авторы имели в виду, что именно причины *определяют* намерение, а не факты твоего прошлого поведения или поведения других.

Далее, в тех случаях, когда агент сообщает о своем намерении совершить действие в будущем, необходимо, соответственно, отличать веру, которую агент может сформировать как линию своего будущего поведения, как результат наблюдения или как следствие факта, от веры, которую он сформировал независимо от наблюдения или факта, так как последняя при подобном применении фактически содержит понятие намерения. Очевидно, что сообщение агента о своем намерении совершить некое действие в будущем не является предсказанием того, что он совершит действие, хотя третьи лица могут предсказать это на основании подобных его сообщений. Такие суждения не являются предсказаниями, что явствует из того факта, что если агент не совершает действие так, как говорит, что намеревается его совершить, то это не является основанием для критики его в том, что то, что он сказал, было ложным, или что он ошибался, но указывает на то, что он передумал. Ибо если он не делает так, как говорит, что намеревается сделать, то его можно упрекнуть в обмане в отношении своих намерений¹. В большинстве случаев агент формирует намерение совершить действие в будущем как результат имеющихся вариантов и выбора одного из них. Авторы утверждают, что не все намерения формируются как результат предшествующего решения. Однако если я говорю, что после написания этих строк я пойду домой, то это совсем не означает, что я не думал об этом ранее и не имел на это намерения.

Как нам понять (распознать) намерение говорящего? Остин считал, что «обеспечение иллокутивного акта включает в себя обеспечение усвоения», то есть со стороны слушающего должно быть «понимание значения и силы локуции»², причем обеспечение понимания иллокутивной силы является существенным элементом успешного иллокутивного акта. Хотя данное высказывание Остина и не является бесспорным, но исследование термина «обеспечение усвоения» может пролить свет на понятие намерения. Стросон, в частности, переформулирует это выражение, указывая, что если *не реализация*, то по край-

¹ Hampshire S., Hart H.L.A. Decision, Intention, and Certainty. P. 10–11.

² Остин Дж.Л. Слово как действие / Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1986. Вып. XVII. С. 96.

ней мере наличие цели обеспечить усвоение является существенным элементом выполнения иллокутивного акта.

Во многих различных ситуациях общественной жизни одно лицо может выразить желание, чтобы другое лицо сделало нечто или воздержалось от некоторого действия. Когда такое желание выражается не просто как интересная информация или сознательное самовыражение, но с намерением, чтобы лицо, к которому обращено пожелание, подчинилось выраженному желанию, — тогда в языке обычно, хотя и не с необходимостью, используется специальная языковая форма, называемая повелительным наклоном, или императивом «Ступай домой!», «Иди сюда!», «Стой!», «Не убивай его!»¹.

Остин не выделяет императивы в отдельную группу речевых актов, указывая лишь на то, что термин «перформатив» используется в соответствующих ситуациях и конструкция примерно так же, как мы употребляем термин «императив»². Императив есть выражение желания, чтобы другие действовали определенным образом или воздержались от действий. В классификации иллокутивных актов Серла мы можем обнаружить определенное сходство между императивами и директивами, где последние представляют собой акты, в которых говорящий намеревается принудить слушающего осуществить нечто такое, что соответствует продуцируемому интенциональному содержанию³. Харт отмечает большую потребность в различении разновидностей императивов по отношению к контексту, задаваемому социальной ситуацией. Вопрос о том, в каких стандартных ситуациях употребление высказываний в повелительном наклонении может быть классифицировано как «приказ», «прошение», «запрос», «команда», «указание» или «инструкция», является методом не только обнаружения лингвистических фактов, но и способом выявления сходств и различий между всевозможными социальными ситуациями и отношениями, распознаваемых в языке⁴. И следствием

¹ Харт Г.Л.А. Понятие права. С. 26.

² Остин Дж.Л. Слово как действие. С. 27.

³ Серл Дж.Р. Классификация иллокутивных актов / Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1986. Вып. XVII. С. 182.

⁴ Харт Г.Л.А. Понятие права. С. 242.

всего этого является особая важность их понимания для изучения права, морали и социологии.

Характеризуя стандартный способ употребления повелительного наклонения в языке, следует отличать случаи, когда говорящий просто сообщает о том, что он желает, чтобы другой поступил определенным образом, в качестве информации о себе самом, от случая, когда он говорит с намерением сделать так, чтобы другой, действительно, поступил указанным образом¹. Учет характерных особенностей использования выражений повелительного наклонения необходим, но не достаточен для того, чтобы выявить намерение одного лица (употребляющего императив) заставить другого поступить так, как того желает говорящий; необходимым условием является желание говорящего донести до слушающего, что цель императива как раз и есть реализация этого желания, и тем самым повлиять на то, чтобы он поступил именно так, а не иначе. Одной из сложностей, с которой мы сталкиваемся при анализе общего понятия «императив», является то обстоятельство, что для приказов, команд, просьб и других разнообразных форм императивов, несмотря на их лингвистические коннотации, не существует общего слова, которое точно выразило бы намерение говорящего, чтобы другой совершил или воздержался от совершения определенных действий; аналогично, нет одного слова и для обозначения совершения или воздержания от совершения этого действия. Все обычные выражения (такие, как «приказы», «требования», «повиновение», «подчинение») содержат в себе оттенки тех различных ситуаций, в которых они обычно используются. Например, воинский приказ старшего по званию существенно отличается от приказа вооруженного грабителя отдать ему все, что у вас есть. Для описания этих и других подобных ситуаций использование слов «приказ» и «подчинение» (как жертва в ситуации с вооруженным грабителем, так и младший по званию *должны* подчиниться) не всегда корректно. Поскольку эти существительные едва ли адекватно описывают, например, ситуацию с грабителем, так как первое слово предполагает

¹ Hart H.L.A. Signs and Words // The Philosophical Quarterly. 1952. Vol. 2. P. 61.

авторитетность отдающего приказ, а второе часто расценивается как добродетель. Даже такие, казалось бы, невинные высказывания, как «Сказать кому-то сделать нечто», предполагают определенное превосходство одной стороны над другой.

Из представленного анализа предложений «Я знаю, что сделаю это», «Я решил сделать это», «Я намерен сделать это» мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, не всегда, но зачастую намерение является желанием совершить нечто, предполагающее наличие цели. Несмотря на то, что желание и намерение имеют одинаковые правила употребления, но есть и разница между этими понятиями, которая обнаруживается в таких выражениях, как «сокровенное желание», «желанная женщина» или «Желаю счастья!». Во-вторых, намерение связано с действием, но не исчерпывает полностью его значения, однако в то же время нам удалось доказать, что принять решение – значит совершить действие. Эти тезисы указывают на то, что связь между намерением и решением не является необходимой, как считали Харт и Хэмпшир¹.

Таким образом, через лишение философских оснований концепции ментального фактора при объяснении человеческого поведения достигнуто методологическое преимущество в обосновании недескриптивной (аскриптивной) концепции юридического дискурса над дескриптивной концепцией. Следующим шагом в этом направлении, по-видимому, должна быть замена понятия истины на альтернативный регулятивный идеал, который будет фиксировать условия приписывания ответственности на имеющемся поведенческом материале. Если исходить из отрицания значения истины у юридического дискурса, то тогда основания юридического дискурса являются конвенциональными, то есть договорными, а сами юридические понятия, такие, например, как «виновен», не описывают внешние физические вещи, а являются описанием отношения к этим вещам.

¹ См. подробнее о других критических замечаниях к подходу Харта и Хэмпшира: Stern K. Mr. Hampshire and Professor Hart on Intention: A Note // *Mind*, New Series. 1959. Vol. 68, No. 269. P. 98–99; Boden M.A. In Reply to Hart and Hampshire // *Mind*, New Series. 1959. Vol. 68, No. 270. P. 256–26; Cavell S. Must We Mean What We Say? A Book of Essays. Cambridge University Press, 1976. 408 p.

3.2. КАК СОВЕРШАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОМОЩИ СЛОВ?

В 1930–40-х гг. в англоязычной академической среде сложилось специфическое направление в рамках аналитической философии – лингвистическая философия (или философия обыденного языка), развиваемая преимущественно в работах Дж.Л. Остина и «позднего» Л. Витгенштейна. Эта философская традиция предполагала признание и обоснование того, что слова в человеческих жизнях играют активную роль; что в конечном счете позволило философии выйти за рамки изучения пропозициональной стороны языка и сосредоточиться на коммуникативной стороне речи. Выступая против сциентизма в философии, представители этого философского течения утверждали, что люди используют язык как средство совершения действий. Анализ понятий «использования», или «употребления», позволил говорить о языке, в первую очередь, как о совокупности *действий*, а не значений. Это, в свою очередь, способствовало тому, что эти действия стали пониматься не как нечто, имеющее характер поступков, совершаемых свободными в публичной сфере индивидами, но как *социальное поведение*, то есть как определенный ряд действий, которые в определенных обстоятельствах ожидаются социумом от индивида.

С этого времени философия открывает совершенно особый тип речевых актов, особенность которых заключается в том, что осуществляющий их субъект всегда совершает нечто большее, чем описание индивидуального действия, не совершая при этом никакого дополнительного действия. Философы обратили внимание на то, что огромное количество действий люди способны совершать при помощи слов, или словами. Более того, в каждом речевом акте обнаружилось не один, а несколько уровней, поскольку, кроме совершения самого акта высказывания, мы нечто делаем посредством этого акта и при этом как-то оцениваем последствия его совершения и степень воздействия на того, к кому обращаемся. Многое из того, что мы говорим, направлено в первую очередь не на передачу информации, но на подтверждение, актуализацию или внесение изменений в существующий институциональный *status quo*. Таким образом, язык начинает рассматриваться не как система обозначений, но как инструмент осуществления той или иной социальной активности.

Принимая во внимание прагматизацию философии языка и провозглашение лингвистического поворота, в том числе в философии права, необходимо, на наш взгляд, эксплицировать наиболее релевантные аналитико-лингвистические концепции: философия обыденного языка Остина и философия юридического языка Харта, их взаимосвязь и взаимовлияние. При этом исследование, не претендуя на полноту освещения философских представлений Остина и Харта, направлено на анализ точек пересечения их методологических стратегий, учет которых позволит зафиксировать в рамках предложенных теорий специфику словоупотребления.

По мнению Остина, философия языка во многом пострадала от так называемого дескриптивного заблуждения¹ (*descriptive fallacy*), поскольку язык анализировался так, как если бы он был исключительно дескриптивным. Напротив, задача анализа – прежде всего, точно указать на конкретные множества различных способов обыденного употребления языка, которые в определенных ситуациях с очевидностью не могут быть верифицированы или фальсифицированы. Эти ситуации, или контексты употребления языка, могут быть проанализированы только в терминах речевой ситуации. Поэтому Остин сдвигает акцент исследования с формальных признаков высказываний на анализ конкретных ситуаций. Действительно, если не вызывает сомнений, что утверждение типа «Собака сидит в будке» описывает некую фактическую ситуацию, то, напротив, ошибочно анализировать утверждение «Я обещаю Вам заплатить» как дескриптивное. Несмотря на то, что утверждение «Я обещаю Вам заплатить» может внешне казаться дескриптивным, то есть может описывать существование обещания, однако подобная интерпретация упускает из вида его подлинную природу или искажает ее. Тот, кто произносит «Я обещаю Вам заплатить», не описывает существование обещания, но *дает* (или, словами Остина, *делает*) обещание. Остин, в целом не отрицая того, что определенное использование языка может быть дескриптивным, отмечал важность учета перформативного характера многих повседневных употреблений. Люди используют язык не просто для того, чтобы описать мир, а скорее совершить действия с их помощью. «Слова суть инструменты, кото-

¹ *Остин Дж.Л.* Истина / Остин Дж.Л. Три способа пролить чернила: Философские работы. СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2006. С. 153.

рые мы используем», говорил Остин; они являются средствами, с помощью которых мы познаем мир, а не просто его описываем. Поэтому невозможно понять предложение, просто анализируя составляющие его слова или его структуру, без внимания к говорящему и к той цели, ради которой он использует предложения¹.

Если мы отправляемся именно от «обыденного языка», то есть задаемся вопросом о том, *что мы должны говорить, когда и, соответственно, что мы должны иметь при этом в виду*, а также, собственно, *почему*, нам нужен некий метод, который способен пролить свет на интересующие нас проблемы при строгом, тщательном ему следовании. Остин так формулирует содержание этого методологического средства: «Во-первых, слова суть инструменты, которые мы используем; эти инструменты должны быть, по крайней мере, достаточно чистыми, то есть мы должны знать, что мы имеем в виду и что нет, мы должны быть достаточно вооружены для того, чтобы не попадаться в те ловушки, которые расставляет нам язык. Во-вторых, слова (кроме как в их собственном маленьком углу) не суть факты или предметы. Поэтому мы должны отнять их у мира, придержать их в стороне от него и разместить их против него, дабы получить возможность осознать всю присущую им неадекватность и двусмысленность и взглянуть на мир без помех. В-третьих, и это более ясно, общий для всех нас мир слов воплощает собой совокупность всех тех различий, которые человек находит нужным проводить, а также связи, которые он находит нужным отмечать и накапливать с течением многих сменяющих одно другое поколений»².

Идею Остина, что слова являются инструментами, которые мы используем, вряд ли можно считать оригинальной для философии его времени, например, Л. Витгенштейн также использует сравнение «слов» с «инструментами». Так, в § 11 *Философских исследований* он пишет: «Представь себе инструменты, лежащие в специальном ящике. Здесь есть молоток, клещи, пила, отвертка, масштабная линейка, банка с клеем, гвозди, винты. – Насколько различны функции этих предметов, настолько различны и функции слов»³. Но нам кажется важ-

¹ См. подробнее о перформативности значения: *Борисов Е.В.* Основные черты постметафизической онтологии. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 41–47.

² *Остин Дж.Л.* Принесение извинений. С. 207.

³ *Витгенштейн Л.* Философские работы. С. 84.

ным понять, что имел в виду Остин под этой фразой, выражающей отношение между говорящим и словами, которые им используются. Думается, что эта мысль – фундирующий элемент философии языка Остина.

Если мы мыслим в соответствии с остиновскими определениями, то получается, что, переходя от «высказывания» к «языку», мы переходим от более узкого контекста, каковым является специфическая ситуация конкретного речевого поведения, к более широкому контексту социальных и политических действий. Однако только рассмотрение конкретных языковых практик позволяет нам лучше понять язык. Действительно, в нашей повседневной жизни мы часто используем слова как средства для выполнения определенных действий. Я протягиваю руку и говорю «Дай мне стакан воды», или в авиакассе, покупая билет, я говорю «Один билет до Москвы, пожалуйста» и так далее. Эти и другие возможные примеры – явное свидетельство того, что слова являются нашими гносеологическими инструментами. Однако для Остина смысл выражения «Слова суть инструменты, которые мы используем» имел более резонирующее значение, которое связывалось им с фундаментальными проблемами природы языка. Витгенштейн, например, свою прагматически ориентированную концепцию языка основал на идеи, что «значение слова – это его употребление в языке»¹. Значением слова является не его определение посредством словаря, а скорее знание того, когда и как оно может использоваться соответствующим должным образом. Слова суть инструменты, но говорящие вынуждены пользоваться лишь теми инструментами, которые непосредственно представлены в их распоряжение, то есть со «значениями», которые имеют слова, используемые говорящими. По мнению Остина, подобное сосредоточение на «значении» приводит к неправильному пониманию природы языка. Поскольку язык есть социальное явление; говорящие не достигнут коммуникативного успеха, если они не будут использовать слова таким образом, который будет понятен тем, к кому они адресованы. В этом смысле в языке необходимо исследовать не слова, используемые говорящими, но

¹ *Витгенштейн Л.* Философские работы. С. 99.

способ их употребления, поскольку «выражение “значение слова”, как правило, если не во всех случаях, является опасной фразой-бессмыслицей»¹.

Остин в отличие, например, от Стросона признавал важность социальных конвенций в работе языка, а значит, считал, что говорящие ограничены языковыми конвенциями, необходимыми им для общения. Но при этом он осознавал значимость свободы говорящего, позволяющей посредством манипуляций этими конвенциями достичь определенной цели. Говорящий не создает себе «инструментов», а должен использовать лишь те, что предоставлены в его распоряжение; но для того, чтобы понять, какие действия совершает говорящий, употребляя имеющиеся в его распоряжении слова, недостаточно восприятия слов самих по себе и неких лингвистических правил, указывающих на то, как необходимо эти слова использовать. Поэтому для Остина одной из основополагающих проблем было выяснение того, как достичь цели, используя эти правила.

Тем не менее подобное видение природы использования языка с неизбежностью порождает определенную проблему, а именно, мы вынуждены использовать лишь те инструменты, что предоставлены в наше распоряжение. Но может случиться так, что не всегда эти инструменты нам подходят. Или мы не можем быть уверены, что эти инструменты «достаточно чисты», как этого хотел Остин, и надежны. Например, мне дают телескоп и просят меня составить какой-то фрагмент карты звездного неба. Но моя работа будет тщетна, а результаты далеки от реальности, если линзы телескопы будут загрязнены или повреждены. Слова, действительно, являются инструментами, которые мы используем, но иногда, как это явствует из нашего примера, их необходимо *очистить* или даже заменить.

У Харта лингвистический анализ занимал особое место в методологическом арсенале при проведении философско-правовых исследований, основные результаты которых нашли свое отражение в его фундаментальной работе *Понятие права*. При этом только весьма незначительное количество статей, относящихся к раннему периоду его творчества (до написания *Понятия права*),

¹ Остин Дж.Л. Значение слова / Остин Дж.Л. Три способа пролить чернила: Философские работы. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2006. С. 77.

можно с уверенностью отнести к традиции аналитической философии языка. Целью данного раздела является не констатация того, что надлежащее понимание философии языка Остина способно прояснить методологические основания подхода Харта к философско-правовой проблематике, а скорее демонстрация того, что отдельные определенные элементы остиновской концепции языка можно обнаружить в ранних трудах Харта.

Для построения концепции юридического языка, которая учитывала бы его специфические характеристики, Харт выявляет перформативный характер некоторых юридических понятий. А поскольку в юридическом языке имеет место серьезное противоречие между дескриптивными высказываниями, основная функция которых заключается в описании неких фактов совершения действия, подтверждаемых наблюдаемыми проявлениями и разъясняющих право аскриптивными произнесениями, в отношении которых, в отличие от дескриптивных предложений, сложно поставить вопрос об их истинности или ложности. Харт предлагает подход, согласно которому философский анализ понятия «человеческое действие» является неадекватным и вводящим в заблуждение потому, что предложения формы «Это сделал он» традиционно считались *дескриптивными*, тогда как их основная функция – *аскриптивная*, буквально заключающаяся в *приписывании* ответственности за действия, а основная функция предложений формы «Это – его» – в *приписывании* права собственности (с. 159). Логико-семантические особенности, которые отличают эти виды предложений от дескриптивных предложений, могут быть лучше всего поняты при рассмотрении определенных особенностей юридических понятий, поскольку они чаще встречаются в юридической практике и процессе, а не в теоретических рассуждениях правоведов о правовых понятиях.

Желательность и необходимость проявления внимания к характеру использования языка говорящим находят свое детальное обсуждение в статье Харта, посвященной непосредственно философии языка *A Logician's Fairy Tale (Сказка логика)*¹. Здесь

¹ Hart H.L.A. *A Logician's Fairy Tale*. (пер. с англ. В.В. Оглезнева) // Приложение к настоящему изданию. Здесь и далее работа цитируется с указанием страниц в скобках по этому изданию.

Харт пытается разобраться с аналитико-лингвистической проблематикой экзистенциальных предпосылок суждений обыденного языка, где основное гносеологическое внимание центрируется вокруг вопроса: предполагает ли утверждение «Некоторые автомобили имеют красный цвет» то, что автомобили на самом деле существуют, и если это так, то утверждение истинно, а если нет – ложно? Прежде чем мы приступим к анализу постулируемых Хартом логико-эпистемологических оснований вымышленного дискурса, необходимо эксплицировать (хотя и в сжатой форме) критический подход П.Ф. Стросона к современным логическим доктринам, который, по словам Харта, оказал на него позитивное влияние. Кроме того, исследование хартовской концепции вымышленного дискурса позволит нам приблизиться к пониманию онтологических оснований юридического языка.

Как известно, с критики концепции Рассела представителями оксфордской школы лингвистического анализа началась прагматизация теорий референции, предполагающая при оценке логического содержания высказывания учет коммуникативной стороны речи. Так, по мнению Стросона, основная ошибка Рассела состоит в том, что он считал, что *референция*, если она имеет место, должна быть *значением*¹. Рассел смешивал «выражения» (по Стросону, выражения – это то, что имеет референтное употребление) и их употребление в определенном (отдельном) контексте и, таким образом, смешивал *значение* с *референцией*. Поэтому, отмечает Стросон, следует учитывать, что значение является функцией предложения или выражения; референция, а также истинность или ложность являются функциями употребления предложения или употребления. По Стросону, определить *значение выражения* – значит дать общие правила его употребления для референции к отдельным предметам или лицам; определить *значение предложения* – значит дать общие правила его употребления для того, чтобы высказать истинные или ложные утверждения. Из этого следует, что говорить о *значении* выражения или предложения – значит говорить не об отдельном случае его употребления, а тех правилах, традициях и конвенциях, которые оп-

¹ См.: Стросон П.Ф. О референции / Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1982. Вып. XIII. С. 54–85.

ределяют правильность его употребления во всех случаях, когда требуется произвести референцию или утверждение. Следовательно, заключает Стросон, вопрос о том, является предложение или выражение значимым или нет, не имеет ничего общего с вопросом о том, употреблено ли предложение, произнесенное в конкретном случае, для того, чтобы в данном случае высказать утверждение, имеющее истинностную ценность или нет, или вопросом о том, употреблено ли в данном случае выражение для референции к чему-либо. Суть подхода Стросона заключается в том, что вопрос о наличии значения у предложения совершенно не зависит от вопроса, возникающего в связи с его конкретным употреблением, такого, например, как: имеет ли в данном случае место подлинное употребление или *псевдоупотребление*, употреблено ли оно для высказывания о чем-то, например в сказке, или же оно употреблено в качестве философского примера. Вопрос о значимости предложения – это вопрос о том, существуют ли в языке такие навыки, конвенции и правила, согласно которым данное предложение может быть логично употреблено для высказывания о чем-либо, и этот вопрос, следовательно, совершенно независим от вопроса, употребляется ли предложение таким образом в данном отдельно взятом случае. Поэтому то, что предложение *значимо*, равносильно тому, что оно может быть употреблено, чтобы произвести истинное или ложное утверждение, и, употребляя его соответствующим образом, говорящий сделает либо истинное, либо ложное утверждение. Причем оно будет употреблено, чтобы произвести истинное или ложное утверждение, только если при его употреблении говорящий высказывается о чем-то. Если же, произнося его, он ни о чем не высказывается, тогда имеет место не подлинное, а искусственное употребление, или *псевдоупотребление*: говорящий не делает ни истинного, ни ложного утверждения. Однако, как мы далее сможем убедиться, подход Харта, несмотря на определенное сходство с концепцией Стросона, более радикален в том, что, из того, что предложение имеет значение, а высказанные при употреблении предложения суждения имеют логические отношения к другим суждениям, не следует, по его мнению, что в каждом случае осмысленного употребления предложения высказывается суждение, которое должно быть истинным или ложным. То есть значимость (или

осмысленность) предложения, по Харту, не является гарантией того, что, как считал Стросон, говорящий вынесет либо истинное, либо ложное суждение.

Тем не менее Стросон прав в том, что если я заявляю, что «Король Франции – Николя Саркози», то мое высказывание ни истинно, ни ложно. Причина, на наш взгляд, не в том, что, как считал Стросон, референция с помощью слов «король Франции» не состоялась, а в том, что Франция не монархия и короля Франции не существует. Так же как и предложение «Какие у Вас прелестные дети», сказанное женщине, не имеющей детей, не является ни истинным, ни ложным. Но говорящий все-таки осуществил референцию с помощью этих слов, поскольку он может принять *чужих* детей за детей этой женщины, которая на самом деле детей не имеет. Тем не менее такое утверждение ни истинно, ни ложно, так как оно основывается на пресуппозиции, что у женщины есть дети, каковых у нее в действительности нет. Это опровергает тезис Стросона, согласно которому, если не удовлетворяется пресуппозиция существования, то говорящий не может произвести референцию. Ведь в этом примере пресуппозиция ложна, и тем не менее говорящий осуществил референцию к кому-то, а именно к детям, ошибочно принятым за детей этой женщины. В этом смысле, по-видимому, следует отличать вопросы типа «Действительно ли лыс король Франции?», которые являются явно бессмысленными, от вопросов «Действительно ли Санта Клаус живет на Северном полюсе?». Хотя, например, Рассел посчитал бы эти вопросы равнозначными, так как оба они ложны. Возможно, аргументируя это так, согласно закону исключенного третьего ответ на вопрос «Действительно ли Санта Клаус живет на Северном полюсе?» предполагал бы, что он либо живет, либо не живет на Северном полюсе, а поскольку, раз Санта Клаус не существует, то он нигде не живет. Напротив, произнести такое выражение, как «Золотая гора находится в Сибири», можно, только рассказывая какую-нибудь сказку, то есть в рамках широкого контекста, за пределами которого упоминания о золотых горах не встречаются. В этом контексте вопрос об истинности или ложности просто не встречается.

Харт, выступая вслед за Стросоном против ортодоксальности современных логических доктрин, представляет свою более радикальную версию верификации вымышленных суждений, которая базируется на следующих допущениях. Во-первых, необходимо признать, что, хотя предложение имеет значение, которое мы понимаем, а высказанные при употреблении предложения суждения имеют логические отношения к другим суждениям, из этого не следует, что в каждом случае осмысленного употребления предложения высказывается суждение, которое должно быть истинным или ложным, ибо вымысел не является ни истинным, ни ложным. Во-вторых, как результат очевидного факта, что определенные типы предложений вроде форм А, Е, I и О прежде всего предназначены для употребления (и поэтому являются истинными и ложными) там, где объекты, упоминаемые их субъектом, существуют, мы должны признать, что существует конвенциональная связь между этими предложениями и экзистенциальными предложениями, посредством которых мы утверждаем, что выполнено условие обычного употребления. Эта конвенциональная связь не является следованием; и один из главных приемов вымысла заключается в намеренном нарушении этой конвенции.

Подход Харта к анализу вымышленных суждений более радикален и в этом смысле более привлекателен, чем стратегия Стросона, которая лишь указывает, что критика таких традиционных логических учений, как «Логический квадрат» или теория силлогизмов, со стороны современных ортодоксальных философов, воспитанных на формальной логике, основывается на непризнании того факта, что при референтном употреблении выражений экзистенциальные утверждения имплицитно существуют в особом смысле этого слова.

Итак, «погружение» четырех аристотелевских форм А, Е, I и О в логику предикатов указывает на то, что тогда как формы I и О представляют собой утвердительные экзистенциальные предложения, имеющие соответствующие символические записи $\exists x (S(x) \& P(x))$ и $\exists x (S(x) \& \sim P(x))$, которые «влекут» существование членов класса, обозначаемого их субъектами, то А и Е следует интерпретировать как отрицательные экзистенциальные предложения, имеющие форму $\sim \exists x (S(x) \& \sim P(x))$ и $\sim \exists x (S(x) \& P(x))$, поскольку они, в отличие от I и О, не предполагают

существование класса, обозначенного их субъектами. При этом формы А и Е имеют «экзистенциальный смысл» и записываются как $\sim \exists x (S(x) \ \& \ \sim P(x)) \ \& \ \exists x (S(x))$ и $\sim \exists x (S(x) \ \& \ P(x)) \ \& \ \exists x (S(x))$. То есть вместо экзистенциального предиката вводится квантор существования, характеризующий, в первую очередь, субъект суждения; соединяясь с символом термина, квантор существования превращает свободную переменную в связанную. Подобная интерпретация отношений между суждениями А, Е, I и О, представленная сторонами «Логического квадрата», приводит к абсурдному выводу, что можно логически продемонстрировать *существование* чего угодно.

Иными словами все общие суждения, входящие в Квадрат, должны либо интерпретироваться через отрицательные экзистенциальные суждения, либо интерпретироваться как конъюнкции отрицательных и утвердительных экзистенциальных суждений (например, общеутвердительные суждения будут иметь форму $\sim \exists x (S(x) \ \& \ \sim P(x)) \ \& \ \exists x (S(x))$), в то время как частным суждениям обычно дается интерпретация через утвердительные экзистенциальные суждения. Из этого следует, отмечает Стросон, что, какой бы из двух названных вариантов мы ни приняли, мы должны отказаться от тех или иных законов традиционной логики, но это, по его мнению, мнимая дилемма. Поскольку если суждения, входящие в Квадрат, не интерпретировать ни как утвердительные, ни как отрицательные, ни как утвердительные и отрицательные экзистенциальные суждения, а видеть в них такие предложения, для которых вопроса, употребляются ли они для того, чтобы производить истинные или ложные утверждения, не может возникнуть, если не соблюдено экзистенциальное условие для субъекта, то тогда все традиционные законы логики окажутся применимыми¹. Этот пассаж Стросона удачно коррелируется с указанными выше *выводами* Харта, как мы далее и убедимся.

Итак, возьмем следующее множество суждений, которые соответствуют четырем аристотелевским формам А, Е, I и О:

*Все упыри являются покойниками,
Ни один упырь не является покойником,
Некоторые упыри являются покойниками,
Некоторые упыри не являются покойниками.*

¹ Стросон П.Ф. О референции. С. 85.

Согласно правилам «Логического квадрата» формы 1) А и О, Е и I не могут быть одновременно ложными или истинными, 2) А и Е могут быть ложными, но не могут быть истинными, 3) I и О не могут быть ложными, но могут быть истинными. В то время как «экзистенциальная интерпретация» суждений сказочного дискурса указывает, например, на то, что суждения формы А и Е не являются контрарными и могут быть одновременно истинными. То есть все общие вымышленные суждения истинны (в особом смысле этого слова), а все частные суждения – ложны. При этом, отмечает Харт, следует иметь в виду, что увериться в том, что существуют упыри, говорить так, как если бы они существовали, и говорить о них, что все они покойники, на самом деле совершенно иное, чем утверждать «бессодержательную» истину, что ничто не является упырем, не являясь при этом покойником. Поскольку истина, приписанная согласно данному анализу суждению «Все упыри являются покойниками», хотя и называется «бессодержательной», но не является истинной в некотором специальном смысле («истина вымысла»), подразумевающей только то, что суждение, образующее часть сказочной истории, в которой «Ни один упырь не являлся покойником», было бы ложным. Однако оба этих суждения являются истинными в том же самом фактуальном смысле, в котором истинным является суждение «Упыри не существуют».

Действительно, это допущение, казалось бы, позволяет прийти к выводу, что «Логический квадрат» Аристотеля обеспечивает доказательство существования чего угодно, в том числе упырей, людоедов, гномов и проч., вообще «всего, что заслуживает внимания». Данное доказательство имеет следующую форму: если задать какое-то множество четырех форм А, Е, I и О (типа «Все упыри являются покойниками», «Ни один упырь не является покойником» и т.д.), одно из двух частных суждений I и О должно быть истинным; как I, так и О, согласно экзистенциальной интерпретации, влекут, что упыри существуют; следовательно, при условии, что одно из этих четырех суждений об упырях должно быть истинным и что каждое из них влечет, что упыри существуют, тогда нет мыслимых обстоятельств, при которых «Упыри существуют» будет ложным. Это означает, что «Упыри существуют» является необходимо истинным.

Однако подобная аргументация вводит в заблуждение, по крайней мере, по двум основаниям. Во-первых, данное доказательство не учитывает того, что «Логический квадрат» связан просто с демонстрацией логических взаимоотношений этих четырех форм суждений, то есть с демонстрацией того, каким образом истинностное значение суждений одной формы предопределено истинностным значением других форм, а его стороны и диагонали представляют высказывания о следовании или высказывания о логической необходимости или логической невозможности. Причем совершенно ясно, что единственная информация, которую такие высказывания о следовании, логической необходимости или логической невозможности могут придать истинности или ложности значений любой из форм А, Е, I и О, должна быть *гипотетической*. Эти формы свидетельствуют только о том, что *если* О ложно, то I должно быть истинно, что *если* А истинно, то I должно быть истинно, и т.д. Во-вторых, хотя Квадрат и предполагает, что каждое осмысленное суждение является либо истинным, либо ложным, но это допущение не всегда очевидно, как в случае сказки, ибо вымысел не является ни истинным, ни ложным. Иными словами, из предложенного выше доказательства не следует, что в каждом отдельном случае *осмысленного* употребления предложения высказывается суждение, которое должно быть истинным или ложным.

Принимать всерьез фактуально истинные или ложные суждения – это, несомненно, наиболее важное употребление осмысленных описательных предложений, но оно не является единственным, отмечает Харт. Ибо мы можем сказать и часто говорим, когда предложение используется в нашем присутствии, что вопрос о его истинности или ложности *в данном случае* не возникает, хотя, конечно, мы можем его понять и, следовательно, осознать его логическое отношение к другим суждениям (с. 192). Например, когда нам рассказывают сказку. Мы знаем, что упырей не существуют, но рассказчик для нашего развлечения и увлечения применяет такое употребление слов, которое мы можем назвать разговором, *как если бы* они существовали, разговором о том, если бы упыри существовали, мы могли бы утверждать, что продуцируемые рассказчиком суждения могут быть истинными или ложными, но поскольку упыри не существуют, то эти суждения

не являются ни истинными, ни ложными. Чтобы избежать этих трудностей, заключает Харт вслед за Стросоном, необходимо строго отличать вопрос, касающийся значения или осмысленного характера предложения, а именно, при каких обстоятельствах оно является истинным или ложным, от вопроса, является ли в каком-то особом случае употребления высказанное суждение истинным или ложным или же, как в случае с вымыслом, его нельзя «всерьез» охарактеризовать как истинное или ложное.

Выявление и фиксация трудностей верификации вымышленных суждений позволяет нам перейти к исследованию *второго вывода* Харта о специфичности такого ненаучного дискурса, как сказочный.

Между формами А, Е, I и О, как они используются в обычном, нематематическом и ненаучном дискурсе, и предложениями, утверждающими существование членов класса, обозначаемого их субъектом, есть близкая (или, как он ее называет, «конвенциональная») связь, которая не является (логическим) следованием; и один из главных приемов вымысла заключается в намеренном нарушении этой конвенции. Значение постулируемой Хартом *конвенциональной связи* между формами А, Е, I, О и предложениями, утверждающими существование членов класса, обозначаемого их субъектом, раскрывается через допущение, что эти предложения имеют «экзистенциальный смысл», но это не смысл экзистенциальной интерпретации форм А и Е или I и О. Этот «смысл» заключается в следующих особенностях их употребления.

Во-первых, истинность экзистенциального предложения является необходимым и достаточным условием истинности предложения формы А, в то время как ложность экзистенциального предложения не обязательно приводит к ложности предложения формы А. Действительно, предложение «Все люди смертны» не могло быть истинным, если бы истинным не было «Люди существуют, и нет ни одного человека, который не является смертным» ($\sim \exists x (S(x) \ \& \ \sim P(x)) \ \& \ \exists x (S(x))$). Но если допущение «несуществования», имеющее форму $\sim \exists x (S(x))$, может фальсифицировать экзистенциальное предложение, оно не фальсифицирует «Все S суть P». Из этого следует, что если пропозициональная функция S(x) всегда ложна, то есть не существует S,

тогда «Все S суть P» и «Ни один S не суть P» оба будут истинными, независимо от того, каким может быть P. Это можно считать верным лишь для единичных экзистенциальных суждений. Однако в обстоятельствах ненаучного дискурса, то есть в обстоятельствах широкого контекста, можно показать, что суждение не является ни истинным, ни ложным, но, например, вымышленным, как в сказке. Следовательно, единичное предложение «Все упыри являются покойниками» не будет ложным (каковым оно было бы при экзистенциальной интерпретации), даже если упырей на самом деле не существует, но будет (логически) истинным, а в случае сказки это предложение, являясь частью сказочной истории, будет ни истинным, ни ложным.

Во-вторых, неформальную связь между экзистенциальным предложением и, например, формой A создает предположение, что люди не употребляют дескриптивные предложения без достаточного основания полагать, что эти предложения являются истинными. Поскольку истинность экзистенциального предложения есть необходимое и достаточное условие истинности суждения формы A, любой, кто в обычном дискурсе утверждает такое предложение, как, например, «Все птицы умеют летать», если он это утверждает со всей серьезностью, будет рассматриваться как убежденный в том, что соответствующее экзистенциальное предложение будет истинным. Ибо в противном случае он не мог бы этого утверждать. Из этого следует, что суждения формы A «предполагают» истинность экзистенциального предложения.

В-третьих, истинность предложения $\exists x (S(x))$, утверждающего просто существование членов класса, соответствующего субъекту, хотя и не влечет форму A, но является необходимым условием ее истинности в особом смысле. Ибо обычное употребление форм A, E, I, O за рамками научного дискурса заключается в наличии контекста, где (1) члены класса, соответствующего их субъекту, существуют и (2) говорящий в это верит. То есть члены класса *существуют* в особом, контекстуально обусловленном, смысле слова, поскольку их *несуществование*, как нерелевантное условие повествования сказочной истории, не квалифицировалось бы как истинное или ложное, но являлось бы бессмысленным. И говорящий *делает вид*, что члены класса существ-

вуют в особом объясненном выше смысле. Поэтому экзистенциальное условие образует значительную часть конвенционального контекста при обычном употреблении форм А, Е, I и О.

Таким образом, эти особенности обычного употребления форм А, Е, I и О вне научного дискурса приобретают «экзистенциальный смысл» и показывают, что экзистенциальная интерпретация не передает их значения или специальной функции. Харт приходит к схожему со Стросоном заключению, что мы ошибочно считаем, что формы А, Е, I и О являются экзистенциальными предложениями, к истинности или ложности которых непосредственно относится существование членов класса, соответствующего субъекту. На самом деле, они не образуют экзистенциальных суждений (хотя они близко связаны с такими суждениями), и существование или несуществование членов класса, соответствующего субъекту, определяет не истинность или ложность суждений этих форм, но только первичность вопроса о том, может ли возникнуть вопрос об их истинности или ложности. Из чего делается вывод, что вопросы о существовании находятся вне рамок «Логического квадрата». Действительно, Квадрат ничего не говорит нам о различии между действительно истинными и ложными суждениями и вымыслом; но он отображает такие логические отношения между предложениями, которые имеют силу независимо от того, является ли в каких-то случаях употребление, приданное этим формам, действительным суждением и, поэтому, истинным или ложным, или же вымыслом и, поэтому, ни истинным, ни ложным.

Таким образом, «Погружение» аристотелевской силлогистики в логику предикатов не имеет смысла для дискурса, имеющего дело с вымышленными объектами. Если предполагать, что все члены класса, соответствующие субъекту, *непусты*, то есть рассуждения не касаются мыслимых сущностей (например, упырей, единорогов, драконов и проч.), то замена суждений форм А, Е, I и О выражениями логики предикатов будет полностью справедлива. Другими словами, при непустых классах все модусы силлогистики Аристотеля выводятся в исчислении предикатов. Иная ситуация возникает при допущении пустых классов. В исчислении предикатов предикаты с пустыми областями для аргументов ведут себя совсем не так, как такие же предикаты с непустыми областями. В этих условиях оказываются невыводимыми все мо-

дусы силлогистики, в которых вывод носит частный характер, а обе посылки носят общий характер. Например, оказываются невыводимыми модусы AAI (*Darapti*) третьей фигуры, а также EAO (*Fesapo*) четвертой фигуры:

$$A \forall x (M(x) \supset S(x))$$

$$A \forall x (M(x) \supset P(x))$$

$$I \exists x (S(x) \& P(x))$$

$$E \forall x (P(x) \supset \sim M(x))$$

$$A \forall x (M(x) \supset S(x))$$

$$O \exists x (S(x) \& \sim P(x))$$

В этом смысле следует согласиться с Хартом, что мы должны сместить наше логическое внимание с общего на частное и сконцентрироваться не на значениях, не на условиях истинности, не на логических отношениях суждений, а на обстоятельствах частного употребления и на том, что может быть названо *способом утверждения* предложения в частном случае. То есть мы должны исследовать, (1) выполняется ли экзистенциальное условие, требуемое для обычного употребления предложения, и (2) почему говорящий говорит так, как если бы это условие было выполнено. Ибо отличие вымысла заключается не в общем вопросе, упомянутом первым, но в употреблении общей формы в частном случае. Что позволяет нам сделать следующие выводы. Во-первых, нам необходимо отличать употребление единичных экзистенциальных предложений от употребления комплекса таких предложений, контекстуальная связанность которых является необходимым условием повествования сказочной истории. Именно контекст связывает рассказ, придавая ему структурированность и последовательность. Поскольку если единично экзистенциальное предложение, как мы убедились, не является ни истинным, ни ложным, то использованные экзистенциальные предложения в широком контексте могут быть истинными или ложными в особом смысле, где вопрос относительно их верификации связан не с существованием членов класса, обозначенных субъектом, но с условиями их употребления. Во-вторых, конвенциональность контекста представляет собой важное онтологическое условие, что слушающий поймет говорящего и поэтому не задаст вопроса «Правда ли что единороги существуют?» или не скажет

«Это неправда, единороги не существуют!». Причем вымысел не нарушает эту конвенцию, как считал Харт, наоборот, вымысел невозможен без нее. Ибо, как мы установили, согласие в употреблении суждений вымышленного дискурса не вызывает вопросов о *реальном* существовании единорогов, пегасов, гномов и прочих сказочных персонажей.

Как отмечалось выше, фундаментом философии языка Остина является допущение, что высказывания не могут быть должным образом поняты без внимания к словам, из которых они состоят, и к порядку их размещения в предложении. Предметом анализа выступает не высказывание само по себе, но контекст его употребления и то, какие действия при этом пытается совершить говорящий; истинность или ложность утверждения зависит не только от значений слов, но и от того, какое действие мы совершили и при каких обстоятельствах¹. Вывод Харта состоит в том, что хотя при некоторых обстоятельствах утверждение «Все людоеды являются злыми» является ложным, так как людоедов не существует, то есть не выполняется presupпозиция существования, но когда такое утверждение является частью сказочной истории, вопрос об его истинности или ложности просто не возникает. Поэтому когда слушающий сказку, которая содержит утверждения типа «Все людоеды являются злыми», спрашивает «Правда ли что все людоеды являются злыми?», становится очевидным, что он просто не понял, как рассказчик использует соответствующие слова (с. 198). Схожую мысль мы обнаруживаем у Остина: «Принцип логики, сообразно которому “каждая пропозиция должна быть либо истинной, либо ложной”, на деле всегда был наиболее простым, трудно искоренимым и распространенным из дескриптивных заблуждений»². Действительно, аргумент Харта, что вопрос об истинности или ложности не возникает в отношении сказочных суждений, покоится не на онтологических условиях вымышленного дискурса, но фактически на том, какие действия намеревается совершить говорящий, произнося слова, конституирующие сказочную историю.

¹ Остин Дж.Л. Слово как действие. С. 115.

² Остин Дж.Л. Истина. С. 153–154.

Фиксация контекстуальности и конвенциональности вымышленного дискурса позволила Харту экстраполировать эти характеристики на правовую сферу, где анализ правовых понятий, подобно сказочным выражениям, невозможен без учета условий их употребления. Анализируя основания юридического языка, Харт пришел к выводу, что правовые понятия имеют, по меньшей мере, две характерные особенности, а именно, неопределенность (*vagueness*) и отменяемость (*defeasibility*). Несмотря на то, что эти свойства можно обнаружить и у *неправовых* понятий, для Харта они являются неотъемлемыми существенными элементами *именно* правовых понятий; правовые понятия приобретают эти свойства в результате своей реализации (конкретной юридической процедуры), которые, становясь имплицитными характеристиками, и позволяют, в конечном счете, отличить правовые понятия от неправовых.

Харт утверждает, что у правовых понятий есть не только некоторая неопределенность значения, но иногда, в некоторых случаях их употребления, невозможно даже установить их значение. Правовым понятиям присуще «ядро (*core*)» и «полутень (*penumbra*)» значения, то есть набор как очевидных, центральных, так и неясных, пограничных, маргинальных случаев употребления. Решение относительно того, применяется ли правило к конкретной ситуации, зачастую ведет к определению области значения общего термина. «Бывают ясные случаи, постоянно возникающие в сходных контекстах, к которым общие выражения четко применяются («Если что-либо является средством передвижения, то автомобиль им является»), но нередко встречаются и ситуации, когда неясно, применимо оно или нет. (Включает ли в себя использованное здесь понятие “средство передвижения” велосипеды, аэропланы, роликовые коньки?) Последние являются фактическими ситуациями, постоянно провоцируемыми природой или человеческими изобретениями, которые обладают лишь некоторыми из черт, характерных для ясных случаев, остальных же требуемых черт у них нет»¹. Таким образом, отмечает Харт, «все правила предусматривают распознавание или классификацию отдельных случаев в качестве проявлений общих понятий, и в ситуации со всем, что мы готовы назвать правилом, можно

¹ Харт Г.Л.А. Понятие права. С. 130.

различить ясные основные случаи, когда оно явно применимо, и иные, когда есть основания и для утверждения, и для отрицания его применимости. Ничто не может устранить этот дуализм “ядра определенности” и “полутени сомнений”, когда мы подводим отдельные случаи под общие правила. Это придает всем правилам пограничную зону неясности или “открытой структуры”¹. Так, согласно этой логике, «убийство» – это неопределенное понятие, «ядром» значения которого является «умышленное лишение жизни другого человека», а «полутенью» например, «причинение смерти по неосторожности». Иными словами, есть действия, которые подпадают под это понятие, но также есть действия, которые не могут быть квалифицированы в качестве убийства. Причина неопределенности, таким образом, заключается в том, что «свойством используемых человеком (в том числе и в законодательных целях) логических категорий является то, что какие бы мы ни находили способы урегулировать, недвусмысленно и заранее, некоторую сферу поведения посредством общих образцов, которые использовались бы без дальнейших официальных указаний в конкретных случаях, – мы не можем избежать двух недостатков. Первый – это наше относительное незнание фактов; второй – наша относительная неопределенность касательно цели»². Это допущение приводит Харта к выводу, что «открытая структура» составляет неустранимую общую черту человеческого языка (естественных языков в целом и юридического языка в частности), следовательно, правовые понятия одинаковым образом не определены и для профессионального юриста и лица, не обремененного юридическими знаниями.

Неопределенность правовых понятий следует эксплицировать, по мнению Харта, через юридическую процедуру (судебную правоприменительную деятельность). Как известно, в Англии судья не снабжен точно сформулированными общими критериями, определяющими «договор» или «причинение вреда»; вместо этого он, ссылаясь на прошлые случаи или прецеденты, должен вынести решение, был ли на основании представленных фактов заключен договор или причинен вред; и, поступая так, он облада-

¹ Харт Г.Л.А. Понятие права. С. 127.

² Там же. С. 132.

ет широкой свободой в суждении, достаточно ли близок данный случай прошлому прецеденту, а также в определении того, соответствует ли он действительно прошлому прецеденту. Это привносит в юридические понятия некоторую двусмысленность, весьма вольно трактуемую в интерпретации судебной традиции, а это имеет следствием то, что на требование определить правовое понятие – «Что такое причинение вреда?», «Что такое договор?» – нельзя удовлетворительно ответить, обеспечив вербальное правило перевода юридического выражения в другие термины или в однозначно определенное множество необходимых и достаточных условий (с. 162). Этот тезис указывает не на то, что у судей есть возможность применения усмотрения относительно того, как правовые понятия должны быть применены к конкретным фактическим ситуациям; но на то, что неопределенность этих понятий есть результат проблемы их определения.

Как определить содержание правового понятия, если «вербальное правило перевода юридического выражения в другие термины или в однозначно определенное множество необходимых и достаточных условий» не применимо? Получается, что отсутствуют средства корреляции между юридическим выражением и выражением обычного языка. С одной стороны, юридический язык использует те же самые слова, что и обычный язык, но, с другой стороны, юридический язык является специализированным языком, *перевести* который на обычный язык не всегда возможно. Поэтому «необходима такая форма определения (объяснительное определение), которая покажет, как слова, типа “субъективное право”, получают свое значение, исходя из того, как они функционируют вместе с правовыми нормами, ибо это то, что позволяет их отличить от обычных слов и, следовательно, избавиться от трудностей»¹. Кроме того, только тот, кто достаточно сведущ в юриспруденции, то есть способен адекватно оценить и понять проблемы права, может понять, где и как использовать юридические выражения соответствующим для них образом. И как результат этого, считает Харт, несмотря на то, что простые граждане могут определить (или обозначить) свои интеракции

¹ Hart H.L.A. Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer // University of Pennsylvania Law Review. 1957. Vol. 105. P. 961.

в таких терминах, как «контракт», «собственность» и проч., они тем не менее не могут (в специальном смысле) использовать юридические термины так, как это *необходимо*; употребляются те же самые слова, но с разным значением (и влекут разные правовые последствия).

Так происходит потому, что человек *не понимает* правил, конституирующих использование юридического языка; и именно это допущение является основанием для проверки употребления на корректность. Как в ситуации с игрой в шахматы: мы видим, что два человека играют в игру, мы догадываемся, что их действия подчиняются неким правилам, которым игроки следуют и которые определяют то, чем они занимаются в качестве игры, но мы не можем определить то, что это – игра в шахматы. Мы не можем этого сделать, поскольку не обладаем, выражаясь словами Харта, «внутренней точкой зрения» относительно правил этого языка, а «внешней точкой зрения», позволяющей лишь описать поведение социальной группы, но не оценить эффективность принятых правил¹.

Таким образом, представленная концепция юридического языка покоится не только и не столько на технических правилах употребления соответствующих слов, но на сложном переплетении их с нормативными социальными правилами, определяющими то, как должны *действовать* юристы (и прежде всего, судьи), то есть то, что было названо *юридической процедурой*. Принимая во внимание неопределенность правовых понятий и связь этих понятий с юридической процедурой, анализ юридического языка не может обеспечить нас информацией о словах *неюридического* мира, то есть может только показать, как слово используется в юридическом, а не в обыденном дискурсе. Иными словами, «одним из результатов аналитической юриспруденции была и остается в большей степени демонстрация “открытой структуры” или неопределенности границ понятий, используемых в повседневной жизни права и в других сферах, где нормы права, содержащие такие понятия, не в состоянии определить уникальность решения в специфических случаях»².

¹ См. подробнее: Hart H.L.A. Scandinavian Realism // Cambridge Law Journal. 1959. Vol. 17. P. 237–239.

² Hart H.L.A. Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer // University of Pennsylvania Law Review. 1957. Vol. 105. P. 957.

Итак, юридический язык как совокупность юридических понятий, обособленных в суждения, имеет свои эмистемологические особенности, отличающие его от обыденного языка. Право является весьма «запутанным» вариантом человеческой речи, и чтобы понять его свойства, необходимы особые методы объяснения, способные обеспечить общую теорию права соответствующим аналитическим инструментарием. Ибо язык – это лабиринт путей, отмечает Витгенштейн, ты подходишь с одной стороны и знаешь, где выход; подойдя же к тому самому месту с другой стороны, ты уже не знаешь выхода¹. Таким образом, применение отдельных положений теории речевых актов к правовым высказываниям может иметь эвристическое значение не только для прояснения онтоэпистемологических оснований юридического дискурса, но и для тематизации методологии аналитической философии языка в сфере права. Подобная исследовательская стратегия позволяет, во-первых, выявить релятивность концептуальных разработок школы лингвистического анализа юридическому языку, как особому средству социальной коммуникации; во-вторых, выявить основные онтологические свойства юридических выражений и, в-третьих, обосновать аскриптивное понимание юридического языка.

3.3. АСКРИПТИВЫ КАК ПЕРФОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Теория речевых актов, считаясь достаточно однородным направлением в лингвистической философии и имея своим предметом «иллокутивную силу» высказывания, представляет собой коммуникативно-целевую семантику, которая описывает один из аспектов целенаправленной деятельности носителей языка. Этот немаловажный аспект связан с особыми механизмами речевой деятельности – механизмами динамики целей общения. В этом смысле ядром иллокутивной силы высказывания является коммуникативная цель (намерение, установка) говорящего, а в качестве единицы, служащей объектом анализа, выступает отдельное высказывание. Для создателей этой теории (Остин, Серл, Стронсон) она выступала, прежде всего, как развитие и углубление пред-

¹ *Витгенштейн Л.* Философские работы. С. 163.

ставлений о смысле и значении языковых выражений, сложившихся в философской логике, при этом значением языкового выражения считалось знание правил его употребления. С одной стороны, подобный взгляд на значение так же, как и представление о теснейшей связи языка с теми не собственно речевыми действиями, в которые он вплетен, – свидетельство того глубокого идейного влияния, которое оказали на теорию речевых актов взгляды «позднего» Л. Витгенштейна. С другой стороны, примечательным является тот факт, что первоначально в качестве основного объекта рассмотрения в теории речевых актов выступали речевые действия, относящиеся к правовой сфере (особенно это характерно для подхода Остина). И как следствие этого допущения – акцент на «юридических» речевых актах, несомненно, отразился на понимании речевого действия как действия, совершаемого согласно определенным неязыковым установлениям, или конвенциям.

Вопросы о природе языка права, об онтологическом статусе правовых свойств и о познавательном потенциале правовых высказываний принято относить к области знания, которая может быть условно обозначена как «эпистемология права». Вызванные к жизни вполне прагматическими соображениями, эти вопросы должны формировать конкретную поведенческую стратегию индивида. Так, от ответа на вопрос, какие причины лежат в основании, например, морального высказывания (рациональные или эмоциональные), зависит наше решение согласиться с этим высказыванием и действовать в соответствии с его предписаниями или, наоборот, отвергнуть его и сделать попытку сформировать собственное мнение. Познавательный вопрос, затрагивающий характер объективности моральных высказываний, превращается в практический вопрос доверия моральным оценкам: стоит ли верить моральным высказываниям и следовать моральным предписаниям, если основания, на которых они делаются, произвольны, недолговременны и изменчивы, то есть если они сделаны на эмоциях и необъективны. Как, например, пишет М. Грин: «Объективный характер причин, которые детерминируют действия, регулируемые нормами права, является единственным объяснением, почему эти

причины существуют для каждого человека, в отношении которого эти нормы права оказались действенными»¹.

К данной области знания относится и менее разработанная проблема – проблема «правоприменения», или проблема взаимоотношения эмпирических фактов и норм права, для которых эти факты служат основой приложения. В частности, это анализ предполагаемого *аскриптивного* характера юридических понятий; *аскриптивность* помогает отделить их от родственных моральных понятий и дескриптивных терминов. Рассмотрение этого вопроса предполагает выход на более общую проблему природы рационального поведения и критериев приписывания ответственности, что служит дополнительным эвристическим стимулом для его анализа. Решение проблемы взаимоотношения норм и фактов предполагает определенную концепцию «нормативности», детерминирующую процесс, и направление, в котором происходит поиск решений². Исследовательская стратегия, которая взята за основу в этом исследовании, указывает на особый недескриптивный (аскриптивный) характер юридических терминов, которая может послужить в том числе ключом к разрешению проблемы правоприменения.

Термин «недескриптивный», если исходить из простого семантического анализа приставки «не», является просто отрицанием исходного термина, от которого он образовался, то есть отрицанием того, что этот термин что-то описывает или обозначает. Однако было бы ошибкой считать, что существуют термины, которые ничего не обозначают. Термины по своей природе должны что-то обозначать, иначе их нельзя было бы отличить от нечленораздельных звуков, которые *a priori* не могут этого делать. Вопрос возникает не по поводу того, обозначает или не обозначает этот термин что-то, а по поводу того, как это обозначение происходит, то есть каким образом задается семантика термина. Следовательно, недескриптивный термин должен пониматься не как термин, ничего не обозначающий, а как термин, использующий нестандартный тип обозначения по отношению к обычному и

¹ Green M.S. Legal Realism as Theory of Law // William and Mary Law Review. 2005. Vol. 46, № 6. P. 1924–1925.

² Харт Г.Л.А. Позитивизм и разграничение права и морали // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2005. № 5(262). С. 132.

общепринятому способу задания семантики слов. Обычный, то есть дескриптивный, или, в более узком смысле, эмпирический термин предполагает семантическую связь между термином и объектом, на который он ссылается, в виде «окулярной», «зеркальной» или «картинной» метафоры. Термин описывает, отражает, формирует ментальный образ предмета или процесса, о котором он говорит. Концептуальным следствием этого взгляда является представление о том, что между термином и предметом формируется особое отношение соответствия, которое предполагает обязательное наличие тех сущностей, на которые он ссылается. Мы не можем обладать термином, если отсутствует сущность, которая его породила, потому что тогда не было бы того, чему бы соответствовал термин. Такие дескриптивные термины всем знакомы и общеизвестны, например «человек», «природа», «вода» и т.д. Как видно, семантический тип связи, который предполагает дескриптивное использование слов, основывается на эпистемологическом реализме или вере в то, что наше знание говорит о реально существующих вещах. В противоположность этому считается, что недескриптивный тип семантической связи основывается на определенной разновидности антиреализма, которая отрицает наличие тех сущностей, на которые недескриптивные термины ссылаются (в привычном дескриптивистском понимании)¹.

Однако данное определение верно лишь при первоначальном приближении и не может выявить всех эпистемологических особенностей недескриптивной семантической связи². Поэтому методологически необходимым представляется провести границу между простым указанием на ложность дескриптивной связи для данного термина, то есть отрицанием того, что этот термин обозначает какое-либо свойство или сущность, в то время как он претендует на это, например, слово «пегас» или «кентавр», и изначальным отсутствием такой дескриптивной связи, как это предположительно существует

¹ Ламберов Л.Д., Тарасов И.П. В защиту эмотивизма: дефляционизм и моральные высказывания // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия Философия. 2010. № 3(8). С. 20–23.

² Devitt M. The Metaphysics of Nonfactualism // Nous. 1996. Vol. 30. Supplement: 10. Metaphysics. P. 159–176.

в юридическом дискурсе (то есть различие между *не дескриптивным* и *недескриптивным*).

Удачная стратегия по выявлению специфических свойств нестандартного типа семантических связей, присущих недескриптивному дискурсу, принадлежит Харту, который тяжесть рассмотрения проблемы перенес из области метафизики, то есть вопроса о том, на какие сущности ссылаются недескриптивные термины (и ссылаются ли они на них вообще), в область эпистемологии – концептуальных проблем техники определения недескриптивных терминов. Данное видение проблемы имеет несколько преимуществ, во-первых, оно позволяет уловить различие между недескриптивными терминами и дескриптивными терминами с пустым объемом, которое невозможно провести исходя из метафизической точки зрения, потому что эти два типа терминов не ссылаются ни на какие объекты в привычном дескриптивном понимании. А, во-вторых, процедура определения напрямую задает значения слов (что можно обнаружить уже у Аристотеля, который писал, что «суть бытия» вещи или ее сущность дается нам в определение или через определение¹), то есть она устанавливает тип семантической связи для термина; таким образом, в зависимости от различных техник определения терминов будет варьироваться и тип их семантической связи. Еще один положительный момент заключается в том, что определение образует критерий использования слова, поэтому экспликация правильной техники определения недескриптивных терминов будет одновременно предоставлять критерий для применения этого типа терминов и критерий их отличия от дескриптивных терминов. Следовательно, переход от метафизики к эпистемологии позволяет решить проблему выявления особенностей недескриптивных терминов прямым путем, а не негативными определениями, которые просто отрицали изначальные характеристики, присущие дескриптивным терминам.

Харт, пытаясь доказать недескриптивный характер юридических терминов, отмечает, что практика использования юридических терминов всегда будет отклоняться от изначально предписываемых ей

¹ Аристотель. *Топика* / Собрание сочинение: в 4 т. М.: Мысль, 1978. Т. 2. С. 462–494.

условий, если эти условия (и сам термин) будут определяться посредством техники, которая распространена среди дескриптивных терминов, то есть в терминах «необходимых и достаточных условий». Сама по себе несколько туманная фраза «необходимые и достаточные условия», по всей видимости, является синонимом более привычной фразы «род и видовое отличие» (на это указывают примеры, приводимые Хартом в качестве иллюстрации того, что он считает определением в технике «необходимых и достаточных условий»). Отрицая эту технику определения терминов, он вместе с этим отрицает и представление о том, что существует некий единый элемент, присущий всем ситуациям, в которых происходит применение нормы права, то есть является для нее достаточным основанием. Данная позиция в методологическом плане привела Харта к двум заключениям, во-первых, что юридический дискурс лишен значения истины (который он сам озвучил), и, во-вторых, что у права нет сущности, то есть необходимых и достаточных условий или неких необходимых свойств, присущих ему всегда.

А поскольку примеры из юридической практики лучшим образом могут подтвердить обоснованность некоторых выводов, поэтому Харт начинает свой анализ с предположения о существовании особого вида языковых выражений, основная функция которых состоит не в *описании* конкретных ситуаций, а в *выражении* правовых требований и в юридической квалификации событий, состояний и действий, придающем природным и социальным явлениям юридическое значение. Например, выражение «Я дарю тебе эту вещь» представляет собой перформативное высказывание, произнося которое совершается юридически значимое действие, то есть переход права собственности на вещь от одного лица к другому. Поэтому выражение формы «Он его ударил», по Харту, означает, что некто совершил некоторое действие, которое понимается как утверждение выполнения определенных телодвижений и указывает на требование порицания или наказания за совершение этого действия. При этом необходимо различать ответственность за действия в совершении чего-то и ответственность на нечто сделанное, то есть то, к чему привело совершение определенных действий. Кроме того, следует учитывать, что приписыва-

ние ответственности нельзя смешивать с квалификацией, а аскриптивную ответственность отличать от дескриптивной¹.

Представим ситуацию: я замечаю на лице у своего собеседника осу, стараясь его избавить от страданий, связанных с последствиями укуса, я бью его по лицу, поражая цель. Эту ситуацию наблюдает третий человек, который на основании увиденного может *описать* мои действия выражением «Он его ударил», *приписывая* тем самым мне ответственность за удар по лицу. Я, конечно же, могу объяснить мои действия, ссылаясь на некие позитивные, оправдывающие мои действия, обстоятельства, но с точки зрения наблюдателя мои возражения будут неэффективными и неубедительными. Но необходимо учитывать, что все зависит от того, в рамках какого типа дискурса происходит говорение. Если произнесение имеет место в обыденном языке, то оно, по видимому, дескриптивно, то есть описывает некий процесс или состояние. После удара щека моего собеседника стала красной. Произнося высказывание «У тебя красная щека», я не приписываю щеке свойство «красности», но лишь *констатирую/описываю* некий факт. Другое дело, если квалификация моих действий осуществляется уполномоченным на то специальным субъектом, например судьей, который на основании предъявленных ему фактов, например свидетельских показаний (кто-то наблюдал мои действия), принимает решение в соответствии с определенными правилами. Судья *приписывает/придает* моим действиям юридическое значение через установление соотношения факта и нормы права. Поэтому задача судьи ответить на вопрос «Кто виновен?», а не «Кто его ударил?». Судья в теории Харта представляет собой некое конституирующее начало, задающее онтологические и гносеологические рамки юридического дискурса. Что придает, в свою очередь, устойчивость семантической связи между фактом и правом и позволяет определить недескриптивность юридических понятий. В этом смысле становится очевидным, что суждения о фактах не есть одно и то же, что суждения о приписывании права и ответственности. Так, например, признание судом гражданина умершим есть не установление истинности или

¹ *Stoljar S. Ascriptive and Prescriptive Responsibility // Mind, New Series. 1959. Vol. 68, № 271. P. 350–360.*

ложности факта его смерти, но приписывание правового положения, руководствуясь отдельными, известными суду, фактами.

Таким образом, с одной стороны, для интерпретации или квалификации действий достаточно восприятия наблюдаемых физических движений тела, и в таком случае произнесение *дескриптивно*, но, с другой стороны, наличие необходимых и достаточных условий не всегда достаточно (за исключением судебного решения), так как могут появиться некие новые обстоятельства (кто-то другой также видел на лице моего собеседника осу и может *оправдать* мои действия), *отменяющие* характер представленного утверждения. И только в этом смысле предложения, описывающие действия, согласно Харту, *аскриптивны*, но не дескриптивны. Мы не описываем таким образом некое положение вещей, но приписываем ситуации определенный статус через анализ понятий «права» и «обязанности». Такие высказывания, как «Это – мое», «Это – твое», «Это – его», «Это сделал я», «Это сделал он» и «Это сделал ты», традиционно интерпретируются как дескриптивные или экспрессивные. Но такая интерпретация, отмечает Харт, игнорирует перформативную функцию этих высказываний. Если я говорю «Это – твое» о какой-то ценной вещи, то отнюдь не описываю некое положение дел, но приписываю определенные права на эту вещь; аналогично, в судебном решении «Смит виновен в убийстве жены», наблюдается соединение конкретного эмпирического факта (например, того, что он дал жене смертельную дозу яда) и юридических последствий, вызванных этим фактом. «Твое» и «Не твое» не являются дескриптивными понятиями, такими как, например, «зеленый» или «большой», но понятиями, которые могут быть отвергнуты, а не опровергнуты дополнительными фактами. Дать определение понятию «Твое», по словам Харта, возможно лишь при учете его *отменяемого* (defeasible) характера: выражение «Это – твое» представляет собой смешение физического факта твоего владения с приписыванием права, если только ты это не украл, или не сделал чего-то такого, что смогло бы поставить под сомнение твое владение.

Эта идея *отменяемости* (defeasibility) понятий, по мнению Харта, лучше всего иллюстрируется правовыми ситуациями. Общепринято понимать право как систему правовых понятий, таких как «договор», «причинение вреда» и др., установленных законо-

дательным органом или другим источником и определенных настолько хорошо, что судья при принятии решения просто говорит «Да» или «Нет» применительно к вопросу, соответствуют ли факты содержанию правового предписания, определяющего необходимые и достаточные условия «договора», «причинения вреда». Однако подобное понимание искажает реальную правовую процедуру. Невозможно, считает Харт, дать определение или объяснить понятие «договор», например, определяя необходимые и достаточные условия его применения; это можно сделать, лишь перечисляя необходимые условия, учитывая имеющиеся исключения или отрицательные примеры, указывающие, где понятие не может быть применено или может быть применено в более упрощенной форме. Отсылка к отменяемому аспекту действия есть отсылка к правилам, которые релевантны определенным видам поведения, поскольку понятие действия является социальным понятием и логически зависит от принятых правил поведения. Таким образом, природа юридических понятий в существенной мере зависит от концепции «человеческого действия», в чем мы могли выше убедиться.

Все это привело Харта к выводу, как мы отмечали в предыдущем разделе, что в юридическом языке имеет место серьезное противоречие между дескриптивными высказываниями, основная функция которых заключается в описании неких фактов совершения действия, подтверждаемых наблюдаемыми проявлениями, и разъясняющих право аскриптивными произнесениями, в отношении которых, в отличие от дескриптивных предложений, невозможно поставить вопрос об истинности/ложности. Эта идея удачно согласуется с положением Остина, что, произнося перформативное высказывание, мы совершаем некое действие, но не описываем или сообщаем о действии, следовательно, перформатив не имеет и не предполагает истинностной/ложной оценки. Так же, как и Остин, Харт пытается выявить существенные (в первую очередь грамматические) признаки аскриптивных выражений и указывает, что, «произнося такие предложения, особенно в настоящем времени, мы часто не описываем, но фактически осуществляем или производим некое действие... и когда эти слова употребляются таким способом, они соотносятся с подтверждающими их фактами во многом тем же самым образом, что и решение судьи. Но, помимо этого, данные предложения,

особенно в прошедшем и будущем времени, имеют многообразие других употреблений, которые в целом нелегко вычленишь из так называемого их первичного употребления» (с. 174). Из этого рассуждения мы можем сделать, по крайней мере, два важных методологических вывода: во-первых, приписывание ответственности или права осуществляется при помощи произнесения, а во-вторых, глаголы действия имеют важное дескриптивное употребление, особенно в настоящем и будущем времени, их же аскриптивное употребление применяется в основном в прошедшем времени, где глагол часто вневременен.

Чтобы понять значение аскриптивных высказываний в юридическом языке, стоит более подробно исследовать основные признаки составляющих их правовых понятий. Харт указывает на *неопределенность* (ambiguity) и *отменяемость* (defeasibility) юридических терминов как на имманентные качества, детерминированные соответствующей правовой системой. Однако следуя его логике, как нам кажется, аскриптивные юридические термины должны также характеризоваться и такими свойствами, как *контекстуальность* и *конвенциональность*, учет и анализ которых опровергают большую часть критических замечаний, поступивших в адрес аскриптивного подхода Харта, и указывают на неадекватность и некорректность выводов его оппонентов.

Неопределенность юридических понятий. Харт вслед за И. Бентамом подвергает сомнению эффективность применения традиционного метода определения посредством *per genus et differentiam* таких юридических понятий, как «объективное право», «субъективное право», «ответственность», «государство» и т.д. Несмотря на известность общего употребления этих слов, оно непонятно, потому что в сравнении с большинством обычных слов эти юридические термины в различных отношениях считаются «аномальными». Попытки определить эти термины показывают, что они не имеют прямой связи с фактуальными аналогами, которая есть у большинства обычных слов, для определения которых мы обращаемся к этой связи. Эта техника не может использоваться также и потому, что она предполагает, что анализируемые понятия должны находиться в пределах известного и понятного рода и, следовательно, могут быть обоснованно изолированы

в качестве отдельных слов или выражений, которые могут быть точным образом соотнесены с фактуальными аналогами, а затем дифференцированы от других разновидностей того же самого рода. Напротив, данные условия должны соблюдаться при употреблении таких понятий, как «собака» или «стул». Эти понятия не являются *sui generis*; понятие «животное» является родом для одного, а «мебель» – для другого, и каждый род известен и понятен. Кроме того, в определенных контекстах понятия «собака» или «стул» могут быть использованы изолированно от целых предложений и более или менее соотнесены с соответствующими фактуальными аналогами, и только тогда могут быть дифференцированы от других разновидностей того же самого рода. Но что делать с такими словами, как «ответственность», «собственность» или «право»? Для того чтобы объяснить понятия «право», «ответственность» и т.п., необходимо «поместить» эти термины в определенный контекст, например, такого предложения, как «*A* имеет право требовать от *B* совершения определенного действия». Как только это выражение будет индивидуализировано, тогда можно предположить, во-первых, существование отношений между этими субъектами, во-вторых, существование системы права и, в-третьих, существование такого правила, что *B* должен сделать кое-что в отношении *A*. Этот пример, по мнению Э. Симпсона, указывает на то, что юридические понятия в большей мере «контекстуально обусловлены», чем такие понятия, как «собака» или «стул»¹.

Контекстуальность юридических понятий. Как было показано выше, юридические термины сами по себе ничего не означают и ничего не описывают подобно словам обыденного языка, то есть не имеют референтов, или *фактуальных аналогов*, как их называет Харт, способных раскрыть их содержание. Следовательно, у метода объяснения, который следует применять к праву, есть некоторые отличительные особенности. Во-первых, юридические понятия необходимо и должно рассматривать в соответствующих контекстах, как часть суждений, сделанных судьей или обычным юристом по конкретному случаю на основании соответствующих правовых норм. Во-вторых, когда кто-то говорит

¹ *Simpson A.W.B.* The Analysis of Legal Concepts // Law Quarterly Review. 1965. Vol. 80. P. 535–558.

«*A* имеет право», он не *утверждает* соответствующую норму и не утверждает или описывает обстоятельства, связанные с этим высказыванием. Он совершает нечто отличное, а именно: *делает вывод* на основании соответствующей нормы. И, в-третьих, выражение «*A* имеет право на то, чтобы *B* совершил в отношении *A* определенные действия», произнесенное судьей в Зале заседания, имеет, несомненно, отличительный статус от его произнесения обычным юристом вне суда. Несмотря на кажущуюся схожесть этих двух выражений, принципиальное отличие заключается в порождаемых их говорением юридических последствиях. Однако если эти высказывания делаются не судьей или обычным юристом, то есть вне юридического контекста, то их значение вообще будет бессмысленным. Поэтому, отмечает Харт, «мы должны сместить наше логическое внимание с общего на частное и сконцентрироваться не на значении, не на условиях истинности, не на логических отношениях суждений, а на обстоятельствах частного употребления» (с. 202), то есть при анализе языка нас должно интересовать его использование говорящим, а не содержание анализируемых утверждений.

Конвенциональность юридических понятий. Как мы смогли убедиться, большая часть юридических выражений конвенциональна по своей природе. Но прежде чем выявить их конвенциональный характер, необходимо принять во внимание релевантность юриспруденции следующих утверждений: во-первых, осуществление любого речевого акта (особенно иллокутивных актов) связано с соблюдением или использованием некоторых языковых конвенций (этот тезис Остина пытался опровергнуть Стросон) и, во-вторых, языковые конвенции необходимы для выяснения значения высказывания. Принятие соответствующих конвенций в определенном контексте наделяет произнесение таких выражений, как «Виновен», «Согласен», «Признаюсь», «Встать!» и т.п., особым значением. Следовательно, высказывание, имеющее определенное значение, произнесенное соответствующим лицом в надлежащих обстоятельствах, имеет данную силу вследствие согласованности с этими конвенциями. Несмотря на то, что конвенциональность некоторых юридических выражений несомненна, так как от при-

нятия, признания и согласия определенного лингвистического сообщества по поводу того, что представляет собой правило поведения, зависит эффективность и работоспособность правовой системы, но тем не менее иногда могут возникнуть определенные трудности. Например, для убедительного ответа на вопрос «Что есть право?» отсутствуют соответствующие конвенции, способные определить значение термина «право»¹, что порождает определенные сложности в его употреблении.

Отменяемость юридических понятий. Такие высказывания, как «Это – мое», «Это – твое», «Это – его», «Это сделал я», «Это сделал он» и «Это сделал ты», обычно интерпретируются как дескриптивные или экспрессивные. Но подобная интерпретация искажает перформативную функцию этих высказываний. Если я говорю «Это – твое» о какой-то ценной вещи, то отнюдь не описываю некое положение дел, но приписываю определенные права на эту вещь; аналогично в судебном решении «Смит виновен в убийстве жены» наблюдается соединение конкретного эмпирического факта (например, того, что он дал жене смертельную дозу яда) и юридических последствий, вызванных этим фактом. «Твое» и «Не твое» не являются дескриптивными понятиями, которые могут быть отвергнуты, а не опровергнуты дополнительными фактами. Дать определение понятию «Твое» возможно лишь при учете его *отменяемого* (defeasible) характера, так как выражение «Это – твое» представляет собой смешение физического факта твоего владения с приписыванием права, если только ты это не украл или не сделал чего-то такого, что смогло бы поставить под сомнение твое владение. Рассмотрение отменяемого характера правовых понятий помогает объяснить, каким образом высказывания о фактах подтверждают или опровергают правовые выводы, и, тем самым, интерпретировать фразы, используемые юристами для связи между фактом и законом, когда они говорят о «правовом результате или последствиях фактов», «правовом заключении, выведенном из фактов» или о «последствиях, приписанных фактам» (с. 170). Поэтому, заключает Харт, все юридические понятия непременно отменяемы; и попытка интерпретировать отменяемость просто как отсутствие определенных необходимых условий, то есть интерпретировать все правовые

¹ Харт Г.Л.А. Понятие права. С. 11–2.

высказывания как дескриптивные, неудачна потому, что она искажает логический характер способов защиты нарушенного или оспариваемого права.

Таким образом, в любой социальной системе, в том числе правовой, нормы могут связывать тождественные последствия с любым набором весьма различных обстоятельств. Причем правила этой системы определяют *последовательность* различных действий или состояний дел объединяющим их способом, исходя из чего мы делаем вывод, что первичная функция этих юридических понятий в отличие от обычных дескрипций заключается в том, что утверждение «X имеет право» используется для того, чтобы *действовать* посредством правовых норм, то есть с помощью правовых норм *делать* вывод, а не излагать или описывать факты. Следовательно, учитывая эти отличительные особенности, юридические понятия могут быть прояснены только рассмотрением условий, где и как они используются характерным для них образом.

Подход Харта к анализу юридического языка выглядит несколько поверхностным, поскольку ограничивается лишь различием на некоторых примерах дескрипций и аскрипций и постулированием перформативного характера правовых высказываний, оставляя без внимания исследование онтологических характеристик юридических терминов и речевых актов, связанных с их употреблением. Мы же попробуем расширить методологическую стратегию Харта за счет имплицитного расширения аскриптивной проблематики и попытаемся эксплицировать аскриптивы в контексте теории речевых актов и предложенной Остином и Серлом таксономии иллокутивных актов. В этом смысле основными исследовательскими задачами становятся, во-первых, демонстрация возможности (и/или необходимости) модификации теории речевых актов применительно к правовым высказываниям и, во-вторых, доказательство того, что аскриптивные правовые высказывания представляют собой особый вид перформативных выражений.

Остин при исследовании обыденного языка пришел к выводу, что не все истинные или ложные суждения являются описаниями и что многие высказывания, похожие на утверждения своей грамматической формой, вовсе не предназначаются для сообщения прямой информации о фактах (например, этические суждения). Поэтому многие традиционные философские сложности, по

его мнению, были следствием ошибки, что за прямые утверждения о фактах ошибочно принимались такие высказывания, которые либо вообще не имеют смысла, либо *замысливались* как нечто совсем другое. Желая избавить язык от подобной «путаницы», Остин в терапевтических целях вводит (или «вычленяет», выражаясь его словами) различие между высказываниями, которые говорятя, и высказываниями, которые делаются, называя первые – констативными (декларативными, или дескриптивными), а вторые – перформативными. В отличие от констативных, перформативные высказывания не могут быть ни истинными, ни ложными; они используются для осуществления действия, то есть, произнося перформативное высказывание, мы всегда осуществляем некоторый акт или выполняем некоторое действие¹. Перформатив является одновременно и действием, и высказыванием, а принципиальным отличием перформативного высказывания от констативного является сложность его верификации, напротив, перформатив можно проверить только с точки зрения его правильности или неправильности.

Но как нам определить, какое высказывание является перформативным? Остин предлагает два способа его идентификации: 1) высказывание начинается либо глаголом в первом лице единственного числа настоящего времени, либо местоимением первого лица, за которым следует глагол; 2) в высказывании используется глагол в пассивном залоге во втором или третьем лице настоящего времени. Но при «вычленении» перформативов, используя эти «нормальные формы», мы сталкиваемся с определенными трудностями. Например, высказывание «Сим Вас предупредили», по-видимому, должно быть отнесено к констативным высказываниям (так как глагол употреблен в прошедшем времени), но оно предполагает совершение определенного действия по предупреждению кого-то от чего-то, то есть представляет собой перформативное высказывание. Кстати, подобные способы тестирования перформативных высказываний неприменимы и к юридическим выражениям, как мы сможем далее убедиться. Устранить эти сложности предлагается через допущение, что перформативное вы-

¹ Остин Дж.Л. Перформативы констативы / Философия языка. Изд. 2. М.: Едиториал УРСС, 2010. С. 23.

сказывание предполагает использование «эксплицитного перформативного глагола». Однако явное присутствие в выражении «эксплицитного перформативного глагола» не всегда обязательно. Так, например, такие выражения, как «Собака!» или «Закрой дверь!», лишь предполагают имплицитное присутствие перформативного глагола, необходимого для выполнения акта предостережения, поскольку мы можем также сказать: «Предупреждаю Вас, здесь находится злая собака!». Поэтому главным образом контекст, в котором произносятся слова («Собака!», «Стоять!», «Руки вверх!» и т.д.), может нам ясно подсказать, как эти слова следует понимать: как описание, или как предостережение, или как приказ.

Однако такое высказывание, как «Я констатирую Вашу правоту», которое внешне, то есть по своим грамматическим признакам, выглядит констативным, привело Остина к выводу, что зачастую большая часть, если не все, констативные высказывания являются перформативными, и при их произнесении мы совершаем такие же действия, как когда отдаем приказ или предупреждаем. Эти высказывания, объединенные в одну группу речевых актов, стали именоваться иллокутивными актами и противопоставляться перлокутивным актам, основная задача которых воздействовать на адресата с определенной целью.

Сложность вопроса «чистоты» перформативов, основанного на убеждении в незыблемости дихотомии перформативов и констативов, привела Остина к отказу от постулируемой им дистинкции в пользу более общих семейств связанных и пересекающихся речевых актов, которые он пытается классифицировать¹. Выявление грамматической формы эксплицитных перформативных глаголов (первое лицо единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения активного залога) послужило Остину средством отбора тех глаголов, которые эксплицитно указывают на иллокутивную силу высказывания или показывают, какой именно иллокутивный акт мы осуществляем, произнося данное высказывание. Он пытается составить список эксплицитных перформативных глаголов на основе установления иллокутивной силы высказывания.

¹ Остин Дж.Л. Слово как действие. С. 118.

Но, несмотря на тщательность анализа иллокутивной силы высказывания, все равно остается возможность, отмечает Остин, находить многочисленные пограничные или неудобные для классификации случаи или пересечения групп глаголов. Причем им вполне допускается, что группы глаголов выделены недостаточно отчетливо, что они перекрещиваются между собой и что, возможно, нужна совсем иная классификация. «Я не считаю свою классификацию, – пишет Остин, – сколько-нибудь окончательной»¹.

Остин выделяет следующие пять групп глаголов в соответствии с их иллокутивной силой²:

- 1) вердиктивы;
- 2) экзерситивы;
- 3) комиссивы;
- 4) бехабитивы;
- 5) экспозитивы.

Вердиктивы выделяются по признаку вынесения приговора присяжными, арбитром или рефери, что и заключено в их названии. Но вердикт вовсе не обязан быть окончательным, он может представлять собой, например, оценку, мнение или одобрение. В сущности, здесь мы сталкиваемся с решением относительно чего-то (факта или оценки), вынести которое с полной уверенностью бывает по разным причинам затруднительно. Примеры: оправдывать, признавать виновным (*acquit*), определять размер налога, штрафа, ущерба (*assess*), считать, решать в силу закона (*hold (as a matter of law)*), датировать (*date*), описывать (*describe*), оценивать (*estimate*), ценить, расценивать, считать (*rate*) и др.

Экзерситивами является принятие решений в пользу или против какого-то образа действий. Речь идет о решении, что некое явление должно быть таким-то в отличие от суждения о том, что оно является таким-то: это «пропаганда» должного в противовес оценке сущего; это возмещение убытков в отличие от их оценки; это приговор суда в противоположность вердикту присяжных. Примеры: советовать (*advise*), назначать на должность (*appoint*), увольнять (*dismiss*), приказывать (*command*), назначать (*nominate*), голосовать (*vote for*), принуждать (*urge*), предостерегать (*warn*) и др.

¹ Остин Дж.Л. Слово как действие. С. 120.

² Там же. С. 119–128.

Комиссивами являются обещания или другие обязательства: они обязывают что-то выполнять. Сюда также включаются декларации или заявления о намерениях, не являющиеся обещаниями, и, кроме того, такие ситуации, которые можно назвать участием, поддержкой, например, когда принимают чью-нибудь сторону. Очевидна их близость к вердиктивам и экзерситивам. Примеры: заключить сделку (contract), давать согласие (consent), брать на себя обязательства (covenant), принимать (embrace), связывать себя обязательством (engage), гарантировать (guarantee), обещать (promise), клясться, торжественно обещать (vow) и др.

Бехабитивы включают в себя понятие реакции на поведение других людей и повороты их судьбы. Они включают также отношение к чьему-то поведению в прошлом или в будущем и эксплицитное выражение этого отношения. Примеры: извиняться (apologize), поздравлять (congratulate), восхвалять (praise), вызывать на состязание, дуэль и проч. (challenge) и др.

Экспозитивы используются в актах объяснения, включающего развитие точки зрения, ведение дискуссии и прояснение референции и употребления слов. Примеры: принимать (accept), подтверждать (affirm), извещать (apprise), классифицировать (class), отвергать (deny), акцентировать, подчеркивать (emphasize), изображать, иллюстрировать (illustrate), сообщать (report) и др.

Итак, *вердиктив* – реализация оценочного суждения; *экзерситив* – проявление влияния или осуществление власти; *комиссив* – принятие обязательства или заявление о намерении; *бехабитив* – выражение отношения; *экспозитив* – разъяснение оснований, аргументов и сообщений.

Тематизируя иллюкутивную силу в качестве основания таксономии перформативных актов, Остин тем не менее не дает полного определения иллюкутивного акта, указывая лишь на то, что осуществление локутивного акта является осуществлением иллюкутивного акта, то есть осуществление какого-то акта в ходе говорения в противоположность действия самого говорения. Для определения иллюкутивного акта нам необходимо выяснить, какую именно локуцию мы используем: спрашиваем, отвечаем, предупреждаем, информируем и т.д. Подобная неопределенность понятия иллюкуции вызвала необходимость ее доопределения. Стросон обобщает рассуждения Остина

в четырех основных положениях¹: 1) чтобы знать иллюкутивную силу высказывания, мы должны знать, как сказанное задумывалось или как произнесенные слова были использованы; 2) локутивный акт является актом произнесения чего-либо; иллюкутивный акт – это акт, который мы осуществляем при произнесении чего-либо, то есть это то, что мы делаем при произнесении того, что мы произносим; 3) чтобы выступать в качестве эксплицитного перформатива, глагол должен быть оформлен в первом лице настоящего времени изъявительного наклонения; 4) иллюкутивный акт – это конвенциональный акт (это тезис подтверждается множеством юридических примеров), в отличие от перлокутивного акта, который не является конвенциональным. Именно для уточнения последнего утверждения Стросоном в теорию речевых актов было введено понятие намерения, которое придало уверенности в различении конвенциональных и интенциональных (неконвенциональных) актов. Так, Стросон, привлекая для анализа речевых актов аргументацию Грайса относительно значения языковых выражений², указывает, что лишь некоторые иллюкутивные акты (а не все, как указывает Остин) являются конвенциональными, только в том смысле, что для их реализации необходимы *экстралингвистические* соглашения. Из чего делается вывод, что основные речевые акты по существу вообще неконвенциональные, так как наличие языковых конвенций является случайным фактом. Подобное допущение Стросона позволит нам далее отметить неубедительность аргумента Остина, что иллюкутивные акты являются конвенциональными лишь в том случае, когда они могут быть эксплицированы при помощи соответствующих форм первого лица, а также признать неверным, что подобной перформативной формулы не существует для перлокутивных актов.

Необоснованность выводов Стросона и Грайса об ограниченной конвенциональности иллюкутивных актов привела Серла к выводу, что деление на интенциональные и конвенциональные акты не имеет никакого эпистемологического значения, поскольку оно основано лишь на неправильном понимании идеи Остина о различии между иллюкутивным пониманием (то есть понимани-

¹ Стросон П.Ф. Намерение и конвенция в речевых актах / Философия языка. Изд. 2-е. М.: Едиториал, 2010. С. 36–37.

² См. подробнее: Грайс Г.П. Значение говорящего, значение предложения и значение слова / Философия языка. Изд. 2-е. М.: Едиториал, 2010. С. 75–98.

ем высказывания) и перлокутивным воздействием (эффектом). Серл предлагает три уровня речевых актов, отмечая при этом, что эти уровни необязательно должны присутствовать в конкретном речевом акте, но их учет необходим для должного понимания его функционирования: 1) произнесение слов (морфем, предложений) = совершение *актов произнесения*; 2) референция и предикация = совершение *пропозициональных актов*; 3) утверждение, вопрошание, приказание, обещание и т.д. = совершение *иллокутивных актов*¹. Кроме того, у каждого речевого акта есть три измерения: иллокутивная цель, направление приспособления (слова-реальность или реальность-слова) и условие искренности.

Из этого Серлом делается вывод, что желаемое воздействие значения чего-либо заключается не в том, чтобы вызвать речевой отклик у слушающего или сделать так, чтобы он повел себя определенным образом, а в том, чтобы ему стали известны иллокутивная сила и пропозициональное содержание высказывания. В этом смысле некоторые речевые акты (например, утверждение или обещание) могут быть осуществлены только в системах «определяющих» (конститутивных) правил, а языковые конвенции (например, в естественных языках) реализуют эти глубинные определяющие правила (тем не менее, несмотря на явную убедительность подобной аргументации, остается неясным, чем критикуемые Серлом конвенции Стросона отличаются от его конститутивных правил, реализуемых при помощи этих же конвенций). И если иллокутивный акт успешно осуществлен (например, выполнены обязательства, возникшие из договора), то правило служит только для того, чтобы обеспечить достижение перлокутивного эффекта, – перформативный глагол обозначает выполняемый акт, если эксплицитное намерение говорящего было реализовано (намерения, скрытые в значениях, являются перлокутивными). Поэтому следует заменить, считает Серл, понятие конвенции понятием правила, что позволит показать, что иллокутивный акт есть действие, подчиняющееся соответствующим правилам. Серл, предлагая отказаться от понятия локуции, поскольку верифицируемой может быть только пропозиция, порождаемая перформативом, заключает, что результа-

¹ Searle J.R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press, 1969. P. 24.

том корреляции между понятиями пропозициональных и иллокутивных актов выступают, соответственно, определенные виды выражений, произнесенные в ходе их совершения: характерной особенностью грамматической формы иллокутивного акта является полное предложение (не предложение в одно слово), а характерной особенностью грамматической формы пропозиционального акта являются отдельные части предложения: грамматические предикаты для акта предикации, собственные имена, местоимения и другие виды именных конструкций, необходимых для референции. Пропозициональные акты не встречаются отдельно, то есть невозможно совершить акт референции или предикации без высказывания утверждения или задавания вопроса или совершения иного иллокутивного акта. Лингвистическим коррелятом подобного допущения является то, что предложения, но не слова, используются для совершения действий. В этом смысле основным объектом анализа должен стать, по мнению Серла, пропозициональный акт, поскольку он включает в себя как акт референции, то есть привлечение в зону рассмотрения определенных объектов, так и акт предикации, то есть приписывание свойств этим объектам.

Разграничение иллокутивной силы высказывания и пропозиционального содержания, взятое Серлом за основу при классификации речевых актов, позволило обнаружить слабые стороны остиновской таксономии и предложить альтернативный проект. Серл, прежде чем приступить к изложению своей теории и критике подхода Остина, предлагает обратить внимание на следующие важные методологические допущения¹. Во-первых, часто мы сталкиваемся с тем, что существует несколько совершенно различных принципов разграничения речевых актов, то есть имеются несколько видов различий, позволяющих констатировать нетождественность сил (иллокутивных) двух высказываний (что делает метафору «сила» в выражении «иллокутивная сила» вводящей в заблуждение). Во-вторых, другой источник заблуждений связан с нашей склонностью смешивать иллокутивные глаголы с типами иллокутивных актов. Серл подчеркивает, что если имеют место два несинонимичных глагола, то совсем необязательно, чтобы они описывались как два различных

¹ Серл Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1986. Вып. 17. С. 171–172.

иллокутивных акта. Четкое разграничение иллокутивных глаголов и иллокутивных актов является основой серловской исследовательской стратегии, поскольку иллокуция – это часть языка вообще (а не конкретного языка), а иллокутивные глаголы – это всегда часть некоторого конкретного языка (немецкого, английского, русского и др.). Поэтому важной задачей в устранении возможных «дефектов» иллокутивного акта Серл считает фиксацию семантических правил, индексирующих его «нормальное» осуществление¹.

Принимая во внимание отмеченные допущения, остиновская таксономия, по мнению Серла, приводит по меньшей мере к шести взаимосвязанным затруднениям, а именно (по возрастанию важности) к следующим: постоянно смешиваются глаголы и акты; не все глаголы на самом деле являются иллокутивными; слишком велики пересечения между категориями; слишком неоднородны категории; многие из глаголов, отнесенных к тем или иным категориям, не удовлетворяют определению этих категорий; наконец, самое главное, отсутствует какой-либо до конца выдержанный принцип классификации.

Итак, еще раз, в качестве основания для классификации Серл предлагает избрать иллокутивную цель и вытекающие из нее понятия: направление приспособления и выражаемые условия искренности. Это дает возможность утверждать о существовании следующих «базисных» иллокутивных актов², а не иллокутивных глаголов, как у Остина:

- 1) репрезентативы;

¹ См. подробнее: Searle J.R. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. P. 62–64. В частности, Серл предлагает пять семантических правил, индексирующих иллокутивную силу обещаний (*promises - Pr*): 1) *Pr* произносится только в контексте предложения (или в рамках более широкого дискурса) *T*, где объявляется некий акт говорящего *S*, который он совершит в будущем. Называется правилом *пропозиционального содержания*. 2) *Pr* будет дано тогда и только тогда, когда выполнение *S* действия *A* окажется предпочтительней для слушающего *H*, чем невыполнение, причем *S* также полагает, что выполнение *S* действия *A* окажется предпочтительней для *H*, чем невыполнение. 3) *Pr* будет дано тогда и только тогда, когда ни для *S* ни для *H* не очевидно, что при нормальном стечении обстоятельств *S* сделает *A*. Правила 2 и 3 называются *подготовительными* (*preparatory*). 4) *Pr* будет дано тогда и только тогда, когда *S* намерен сделать *A*. Называется правилом *искренности*. 5) Произнесение *Pr* расценивается как гарантия того, что *A* будет сделано. Называется *сущностным (основным) правилом*. Эти правила имеют определенный порядок: правила 2–5 применяются, только если выполнено правила 1, и правило 5 применяется, только если выполнены правила 2 и 3.

² Серл Дж.Р. Классификация иллокутивных актов. С. 181–188.

- 2) директивы;
- 3) комиссивы;
- 4) экспрессивы;
- 5) декларации.

Цель *репрезентативов* заключается в том, чтобы зафиксировать ответственность говорящего за сообщением о некотором положении дел, за истинность выражаемого суждения. Тематизация репрезентативов в качестве отдельного класса, основанного на понятии иллокутивной цели, позволяет объяснить существование огромного числа перформативных глаголов, обозначающих такие иллокуции, которые укладываются в противопоставление «истинно – ложно», но при этом не являются просто «утверждениями»: они могут толковаться как глаголы, указывающие на такие признаки иллокутивной силы, которые являются дополнительными к свойству иллокутивной цели.

Иллокутивная направленность *директивов* состоит в том, что они представляют собой попытки со стороны говорящего добиться того, чтобы слушающий нечто совершил. Некоторые из остинновских *бехабитивов* (вызвать на дуэль, вызвать на спор и др.) и многие *экзерситивы* относятся к этому классу.

Комиссивы (как у Остина) – это те иллокутивные акты, цель которых состоит в том, чтобы возложить на говорящего обязательство совершить некоторое будущее действие или следовать определенной линии поведения.

Иллокутивная цель класса *экспрессивов* заключается в том, чтобы выразить психологическое состояние, задаваемое условием искренности относительно положения вещей, определенного в рамках пропозиционального содержания.

Определяющим свойством *деклараций* является именно то, что осуществление какого-либо акта из этого класса устанавливает соответствие между пропозициональным содержанием и реальностью; успешное осуществление акта гарантирует действительное соответствие пропозиционального содержания реальности, то есть положение вещей, представленное в пропозициональном содержании, реализует или получает свое существование посредством конкретного показателя иллокутивной силы.

Проанализировав некоторые аспекты теории речевых актов на примере подходов Остина, Стросона и Серла, обратим теперь

наше внимание на выяснение возможности трансляции семантической методологии в область языка права, что, в свою очередь, позволит, во-первых, выяснить релевантность и обоснованность отдельных эпистемологических положений этого подхода, а во-вторых, выявить особый статус правовых высказываний на основе *аскриптивного* подхода Харта к юридическому языку.

Итак, если принять во внимание мнение Стросона и Грайса о том, что «явное намерение» говорящего в случае неконвенциональных актов состоит в том, чтобы добиться от слушающего некоторой реакции или выполнения какого-нибудь действия, то такое выражение, как «Встать, Суд идет!», должно считаться, по видимому, неконвенциональным актом. С другой стороны, в юридическом языке, по сути, все акты являются конвенциональными, так как выполняются в соответствии с конститутивными правилами в духе Серла. Однако мы видим, что произнесение выражения «Встать, Суд идет!» не требует своим результатом, чтобы слушающему стали известны иллокутивная сила и пропозициональное содержание высказывания (хотя этот тезис и кажется спорным при первом приближении, но имеет право на существование), но при этом желаемое воздействие говорящего будет реализовано, так как нежелание повиноваться говорящему может повлечь наступление определенных негативных (юридических) последствий: например, нежелающего повиноваться могут удалить из зала суда. Можно допустить, что некоторые юридические процедуры, которые сопровождаются подобными выражениями, не требуют распознавания интенции или иллокутивной силы высказываний, поскольку *ignorantia legis non est argumentum*. Если воздействие говорящего реализовано (эксплицитный перформативный глагол указывает на реализацию намерения, то есть на выполнение акта), то перлокутивный эффект достигается естественным образом. Как мы видим, наш аргумент, что выражение «Встать, Суд идет!» представляет собой перформативное высказывание с перлокутивным эффектом, ставит под сомнение идею Остина о том, что для многих перлокутивных актов нет соответствующей перформативной формулы 1-го лица; мы можем просто сказать «Приказываю Вам встать, так как идет Суд». По Стросону, эксплицитная перформативная форма может быть названием самого речевого акта (только для конвенциональных актов) в том и только в том случае, если явное намерение гово-

рящего приводит к желательному результату, но для неконвенциональных высказываний эта форма названием вообще быть не может. Следовательно, приведенный нами пример является перформативным конвенциональным актом с перлокутивным эффектом. Этот вывод подтверждает идею Остина об отказе от предложенной им же дихотомии перформатив – констатив, а также опровергает его же тезис, что эксплицитный перформативный глагол нельзя обнаружить в перлокутивных актах.

Как мы уже установили, Серл в качестве основания классификации речевых актов предлагает три «значимых» измерения: иллокутивная цель, направление приспособления и условие искренности. Итак, иллокутивной целью *аскриптива* является возложение обязанности совершить определенное действие в будущем или следовать определенной линии поведения. Так, аскриптивы схожи с серловскими *директивами*, но лишь по параметру иллокутивной целенаправленности. Произнося «Виновен», судья определяет не только *новый* правовой статус слушающего, но и возлагает на него определенные обязанности: претерпеть определенные отрицательные последствия, являющиеся для правонарушителя новой юридической обязанностью, которой не существовало до совершения противоправного деяния, и представляющие собой лишения личного, организационного либо имущественного характера.

Поскольку иллокутивная сила определяет то, как пропозициональное содержание иллокуции должно соотноситься с миром, таким образом, можно выделить два направления приспособления: «слова к миру» и «мир к словам». Приведенный выше пример произнесения «Виновен» показывает, что *аскриптивы* имеют направление приспособления «мира к словам», как и у серловских *директивов* или *комиссивов*. Действительно, произнесение таких суждений, как «*X* виновен в убийстве *Y*», «*X* и *Y* заключили договор», «*X* обязан платить налоги» и проч., свидетельствует о том, что мир *приспосабливается* к словам: у *X* и у *Y* после подобных произнесений появляются новые (правовые) состояния, которых не было прежде. При этом, подобно серловским *декларациям*, осуществление аскриптива устанавливается самим фактом успешного проведения этого акта.

Особый интерес представляет экспликация третьего измерения *аскриптива* – условия искренности. Раскрывая содержание этого параметра речевого акта, Серл отмечает, что, производя любой ил-

локутивный акт с некоторым пропозициональным содержанием, говорящий выражает некоторое свое отношение, касающееся этого пропозиционального содержания. Даже тогда, когда говорящий неискренен, когда он не имеет в действительности такого убеждения, желания, намерения, когда не испытывает сожаления или удовольствия, которое он выражает, тем не менее в ходе совершения своего речевого акта он выражает некоторое убеждение, желание, намерение, сожаление или удовольствие¹. Итак, возможно ли определить аскриптивы через условие искренности? Насколько применимо данное условие к аскриптивам? Так же как и у деклараций, у аскриптивов отсутствует направление искренности, поскольку невозможно сказать, что действия судья, объявившего кого-то виновным, или рефери, удалившего игрока с поля, были неискренними или он попусту лгал. Нельзя сказать «Я признаю Вас виновным в совершении преступления, но я солгал». Внеязыковые установления, конституирующие основания языка права, в дополнение к правилам естественного языка обуславливают специфику и успешность аскриптивов. Именно наличие таких установлений, как нормы закона, позволяет признавать виновным, налагать (юридические) обязанности, требовать совершения определенных действий и т.д.

Таким образом, заимствуя символическую запись Серла, структуру аскриптивов можно представить следующим образом:

$$A \uparrow \emptyset (\text{Н должен сделать } A),$$

где A – обозначение аскриптивной иллокутивной цели, \uparrow – направление приспособления «мир к словам», \emptyset – отсутствие условия искренности, а пропозициональное содержание указывает на то, что слушающий непременно должен совершить некое действие (в широком смысле): исполнить обязательство, претерпеть ограничения или обременения, нести ответственность и т.д., где H – слушающий, A – некий акт, который слушающий должен совершить.

Не вдаваясь в подробный анализ таксономии иллокутивных актов Серла, отметим, что у аскриптивов больше общего с серловскими декларациями. Так же как и для деклараций, для аскриптивов требуется наличие внеязыковых установлений, необходимых для успешности данного типа речевого акта и постули-

¹ Серл Дж.Р. Классификация иллокутивных актов. С. 174.

рующих особое социальное положение, в котором находятся говорящий и слушающий. Нормы закона являются подобными установлениями: если я успешно осуществляю (*аскрибирую*) акт обвинения (признание виновным), то вы становитесь обвиняемым. Причем нормы закона служат одновременно и залогом успешности осуществления данного акта и основанием постулирования особого положения, которое занимают и говорящий, и слушающий. Серл отмечает, что в декларациях сложно провести различие между иллюкутивной силой и пропозициональным содержанием¹. Однако в отношении аскриптивов подобных сложностей не возникает, поскольку их семантическая структура («Я признаю Вас виновным») благодаря внеязыковым установлениям отсылает к надлежащему субъекту говорения и соответствующему контексту, где возможно четко распознать и иллюкутивную силу, и пропозициональное содержание высказывания.

При этом, несмотря на кажущуюся схожесть аскриптивов и деклараций, необходимо учитывать, что экспликация аскриптивов возможна исключительно в рамках юридического языка, специфицирующего их лингвистическое содержание. В этом смысле может сложиться (ошибочное) представление, что иногда аскриптивы могут принимать форму деклараций. Так, предложение «Объявляю XXX Олимпийские игры в Лондоне открытыми», произнесенное королевой Великобритании Елизаветой II, по видимому, должно бы считаться аскриптивом, поскольку есть и говорящий и слушающие, есть и внеязыковые установления, указывающие на успешность данного речевого акта (игры *официально* начались с этого момента) и на соответствующее социальное положение говорящего (особый статус субъекта). Но этот речевой акт не аскриптив, а яркий пример серловской декларации, поскольку он осуществляется в рамках языка, отличного от юридического. Или предложение «Объявляю вас мужем и женой», произнесенное, например, священником во время венчания, будет считаться *декларацией*, но если оно произнесено, например, сотрудником ЗАГСа, то это – *аскриптив*.

¹ Серл Дж.Р. Классификация иллюкутивных актов. С. 185.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование аналитической философии права второй половины XX века послужило основой для существенной модификации основных философско-правовых проблем и новой интерпретации феномена права, его понятия и сущности на эмпирическом уровне познания правовой реальности. Выявление концептуально-методологических оснований и теоретических положений в рамках аналитической философско-правовой традиции – свидетельство того, что аналитическая философия права, непременно, является самостоятельной отраслью научного знания с самобытным предметом и специфическим объектом исследования.

Однако против подобного утверждения естественным образом возникают, как минимум, два важных методологических вопроса. С какими обстоятельствами связано развитие аналитической философии права? Каковы ее перспективы? Думается, что ответы на эти вопросы должны быть, по необходимости, спекулятивными и неполными.

Благодаря представленной, хотя и в редуцированной форме, исторической реконструкции генезиса аналитической философии права, мы можем эксплицировать несколько факторов, вероятно, объясняющих интерес к аналитически ориентированным исследованиям правовых явлений. Во-первых, к 1945 году основные проблемы теории и философии права так и не были решены, несмотря на то, что Дж. Остин и его последователи оставили, безусловно, богатое наследство для их критического осмысления. К подобного рода проблемам права можно отнести следующие: проблемы анализа и определения правовых понятий, проблемы

правопонимания и критицизм в праве¹. Кроме того, в послевоенное время многие англоговорящие академические философы, а также правоведы обратились к исследованиям повседневного языка Б. Рассела, Дж.Э. Мура и Л. Витгенштейна, что, в конечном счете, благоприятно повлияло на формирование необходимых условий и теоретико-методологических оснований становления аналитической философии права. Во-вторых, что менее закономерно, в 1952 году Харт, имеющий за плечами восьмилетний опыт адвокатской практики и семилетний опыт преподавания философии, был избран на должность профессора юриспруденции Оксфордского университета. С тех пор, как Харт стал профессором юриспруденции, отмечает Н. МакКормик, и теория права, и философия права изменились до неузнаваемости². Хорошо разбираясь в основных философских проблемах и понимая эвристичность аналитической методологии, он актуализировал внимание к юридическому языку и к тому, как употребляются правовые понятия.

В заключение процитируем Д. Шугармена, который очень четко, ясно и лаконично (одним предложением) описал вклад Харта в развитие мировой философско-правовой науки: «Харт вдохнул новую жизнь в юриспруденцию, переориентировав ее таким образом, что основные свойства аналитической философии второй половины двадцатого столетия, такие как строгость рациональной аргументации, понятность и ясность, внимание к тонким концептуальным различиям и чувствительность к языку и его логике, стали применимы к исследованию фундаментальных правовых проблем»³.

¹ *Bayles M.D.* Hart's Legal Philosophy: An Examination. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992. P. 1–6.

² *MacCormick N.* H.L.A. Hart. Second Edition. Stanford: Stanford University Press, 2008. P. 213.

³ *Sugarman D.* Hart Interviewed: H.L.A. Hart in Conversation with David Sugarman // Journal of Law and Society. 2005. Vol. 32, № 2. P. 267.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Айер А. Дж.* Язык, истина и логика. – М.: Канон+, 2010.
2. Аналитическая философия: Учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2006.
3. *Аристотель.* Топика // Собрание сочинение в 4 т. – М.: Мысль, 1978.
4. *Афонасин Е.В., Дидикин А.Б.* Философия права. – Новосибирск: Изд-во Новосибир. гос. ун-та, 2006.
5. *Бентам И.* Введение в основания нравственности и законодательства. – М.: РОССПЭН, 1998.
6. *Борисов Е.В.* Герменевтическое понятие нормативности // Вестник Том. гос. ун-та. – 2008. – № 307. – С. 28–31.
7. *Борисов Е.В.* Основные черты постметафизической онтологии. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009.
8. *Борисов Е.В., Ладов В.А., Суrowцев В.А.* Язык, Сознание, Мир. Очерки компаративного анализа феноменологии и аналитической философии. – Вильнюс: ЕГУ, 2010.
9. *Бринев К.И.* Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. пед. ак., 2009.
10. *Витгенштейн Л.* Голубая и коричневая книги. – Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2008.
11. *Витгенштейн Л.* Философские работы. – М.: Гнозис, 1994.
12. *Вострикова Е.В.* Могут ли имена иметь дескриптивное содержание // Язык, сознание, мир. – М.: Альфа-М, 2011. – С. 201–214.
13. *Грайс Г.П.* Значение говорящего, значение предложения и значение слова // Философия языка. 2-е изд. – М.: Едиториал, 2010. – С. 75–98.
14. *Графский В.Г.* История политических и правовых учений. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2007.
15. *Грязин И.Н.* Аналитическая философия права // Современная аналитическая философия. Вып. 1: Сборник обзоров и рефератов. – М.: ИНИОН, 1988.
16. *Губаева Т.В.* Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. – М.: Норма, 2010.
17. *Гудмен Н.* Способы создания миров. – М.: Практикс, 2001.
18. *Дворкин Р.* О правах всерьез. – М.: РОССПЭН, 2004.
19. *Дидикин А.Б.* Современные интерпретации натурализма в аналитической философии права // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия Философия. – 2008. – № 6(1). – С. 59–63
20. *Дидикин А.Б.* Формирование аналитической традиции в современной философии права // Scholē. Философское антиковедение и классическая традиция. – 2010. – № 4(1). – С. 149–165.
21. *Диев В.С.* Критерии выбора альтернатив: рациональные модели и реальные решения // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия Философия. – 2012. – № 1(10). – С. 5–12.

22. Диев В.С. Управленческие решения: неопределенность, модели, интуиция. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2001.
23. Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 172–193.
24. Ершов В.В., Ершов В.В. Спор между Г. Хартом и Р. Дворкиным: анализ концептуальных положений и связанных с ними актуальных дискуссионных проблем современной теории права // Российское правосудие. – 2009. – № 3(35). – С. 4–22.
25. Зазаева Н.Б. Предмет философии права. – Саратов: Изд-во ПАГС, 2001.
26. Золкин А.Л. Аналитическая школа права и аналитическая философия // «Черные дыры» в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2005. – № 2. – С. 63–66.
27. Золкин А.Л. Эволюция лингвистической доктрины аналитической философии и аналитическая школа права // История государства и права. – 2005. – № 2. – С. 52–55.
28. Касаткин С.Н. Основной труд Герберта Л.А. Харта (на публикацию русского издания книги «Понятие права») // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». – 2007. – № 2. – С. 5–15.
29. Касаткин С.Н. Основные идеи «Поскриптума» Герберта Л.А. Харта // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». – 2008. – № 1. – С. 3–27.
30. Касаткин С.Н. Приписывание прав и ответственности в концепции Герберта Л.А. Харта // Вектор науки ТГУ. – 2010. – № 3(3). – С. 83–88.
31. Карпович В.Н. Две концепции правопонимания: к вопросу о соотношении философии и теории права, а также в какой-то степени права и морали // Гуманитарные науки в Сибири. – 2002. – №1. – С. 66–70.
32. Карпович В.Н. Проблема эмпирического содержания теоретических конструкций в правовой сфере // Гуманитарные науки в Сибири. – 1999. – №1. – С. 65–69.
33. Козлова М.С. Идея «языковых игр» / Философские идеи Людвиг Витгенштейна. – М., 1996. – С. 5–25.
34. Колесников А.С. Роль аналитической философии в истории философии // Аналитическая философия: проблемы и перспективы развития в России. – СПб.: Изд-во философ. фак. СПбГУ, 2012. – С. 27–35.
35. Крафт В. Венский кружок. – М.: Идея-Пресс, 2003.
36. Куайн У.В.О. Две догмы эмпиризма // С точки зрения логики. 9 логико-философских очерков. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. – С. 45–80.
37. Куайн У.В.О. Слово и объект. – М.: Логос, Праксис, 2000.
38. Куайн У.В.О. Философия логики. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2008.
39. Кудашов В.И. К вопросу о «терапевтической» функции философии // Сибирское философское обозрение. – 2009. – № 1(55). – С. 107–109.
40. Кудашов В.И. Философские аспекты усовершенствования человека. – Красноярск: СибЮИ, 2007.
41. Ладов В.А. Иллюзия значения: проблема следования правилу в аналитической философии. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008.
42. Ладов В.А. Понятие «производная интенциональность» в современной американской философии // Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 295. – С. 87–91.
43. Ламберов Л.Д., Тарасов И.П. В защиту эмотивизма: дефляционизм и моральные высказывания // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия Философия. – 2010. – № 3(8). – С. 20–26.
44. Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. – М.: Российская академия правосудия, 2012.
45. Макаренко В.П. Аналитическая философия права: концепции и проблемы // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2002. – № 6. – С. 10–33.
46. Моисеев С.В. Философия права: Курс лекций. – Новосибирск: Сиб. универ. изд-во, 2003.

47. Мур Дж.Э. Является ли существование предикатом // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2009. – № 4(8). – С. 111–122.
48. Никифоров А.Л. Рациональность и свобода // Рациональность как предмет философского исследования. – М., 1995. – С. 171–186.
49. Никоненко С.В. Английская философия XX века. – СПб.: Наука, 2003.
50. Оглезнев В.В. Аналитическая философия права: новый подход к решению старых проблем // Философия права. – 2010. – № 5(42). – С. 7–10.
51. Оглезнев В.В. Переосмысление и новая интерпретация дискуссий между Г.Л.А. Хартом и Л.Л. Фуллером и их значение для аналитической философии права // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 330. – С. 55–60.
52. Оглезнев В.В. Проблемы интерпретации *ratio decidendi* в аналитической философии права // Философия права. – 2011. – № 5(48). – С. 7–11.
53. Оглезнев В.В., Тарасов И.П. Аскриптивность как онтологическое свойство юридических понятий // Вестник Томского государственного университета. Философия, социология, политология. 2010. – № 4(12). – С. 101–111.
54. Остин Дж.Л. Перформативы – констативы / Философия языка. Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2010. – С. 23–34.
55. Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1986. – Вып. XVII. – С. 22–130.
56. Остин Дж.Л. Три способа пролить чернила: Философские работы. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
57. Пассмор Дж. Современные философы. – М.: Идея-Пресс, 2002.
58. Пассмор Дж. Сто лет философии. – М.: Прогресс-Традиция, 1998.
59. Патнэм Х. Разум, истина, история. – М.: Практикс, 2001.
60. Платон. Сочинения в трех томах. – М.: Мысль, 1968. – Т. 1.
61. Полсон С.Л. Сущность идеи правового позитивизма // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2011. – № 4(297). – С. 32–49.
62. Райл Г. Понятие сознания. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.
63. Райл Г. Феноменология и лингвистический анализ // Логика, онтология, язык. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. – С. 174–184.
64. Рамсей Ф.П. Философские работы – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011.
65. Рассел Б. Введение в математическую философию. – Новосибирск: Сиб. универ. изд-во, 2007.
66. Рассел Б. Избранные труды. – Новосибирск: Сиб. универ. изд-во, 2007.
67. Рассел Б. Искусство мыслить. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.
68. Серл Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1986. – Вып. XVII. – С. 170–194.
69. Серл Дж.Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1986. – Вып. XVII. – С. 195–222.
70. Серл Дж.Р. Открывая сознание заново. – М.: Идея-Пресс, 2002.
71. Серл Дж.Р. Рациональность в действии. – М.: Прогресс-Традиция, 2004.
72. Серл Дж.Р. Что такое речевой акт? // Философия языка. Изд. 2-е. – М.: Едиториал, 2010. – С. 56–74.
73. Стросон П.Ф. О референции // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1982. – Вып. XIII. – С. 54–85.
74. Стросон П.Ф. Намерение и конвенция в речевых актах // Философия языка. Изд. 2-е. – М.: Едиториал, 2010. – С. 35–55.
75. Суровцев В.А. Автономия логики: Источники, генезис и система философии раннего Витгенштейна. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.
76. Суровцев В.А. Аналитическая философия: всеобщее и нюанс // Вопросы философии. – 2010. – № 8. – С. 23–29.

77. *Суровцев В.А., Ладов В.А.* Витгенштейн и Крипке: следование правилу, скептический аргумент и точка зрения сообщества. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008.
78. *Суровцев В.А.* О методах аналитической философии // Аналитическая философия: проблемы и перспективы развития в России. – СПб.: Изд-во философ. фак. СПбГУ, 2012. – С. 74–80.
79. *Суровцев В.А.* Принцип контекстности: к вопросу о генезисе // Методология науки: Вып. 3: Становление современной научной рациональности. – 1998. – С. 179–185.
80. *Фоллесдаль Д.* Аналитическая философия: что это такое и почему этим стоит заниматься? // Язык, истина, существование. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. – С. 225–239.
81. *Фоллесдаль Д.* Введение в феноменологию для философов-аналитиков // Логика, онтология, язык. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. – С. 158–173.
82. *Фреге Г.* Логико-философские труды. – Новосибирск: Сиб. универ. изд-во, 2008.
83. *Фуллер Л.Л.* Мораль права. – М.: ИРИСЭН, 2007.
84. *Фуллер Л.Л.* Позитивизм и верность праву: ответ профессору Харту // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2005. – № 6(263). – С. 124–159.
85. *Харт Г.Л.А.* Определение и теория в юриспруденции // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2008. – № 5(280). – С. 6–32.
86. *Харт Г.Л.А.* Позитивизм и разграничение права и морали // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2005. – № 5(262). – С. 102–136.
87. *Харт Г.Л.А.* Понятие права. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2007.
88. *Харт Г.Л.А.* Приписывание ответственности и прав // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2010. – № 5(292). – С. 116–135.
89. *Харт Г.Л.А.* Сказка логика // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2009. – № 4(8). – С. 123–135.
90. *Четвернин В.А.* Современные концепции естественного права. – М.: Наука, 1988.
91. *A Companion to Analytic Philosophy.* Eds. A.P. Martinich and David Sosa. – Oxford: Blackwell Publishers, 2001.
92. *Austin J.* The Province of Jurisprudence Determined. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
93. *Bayles M.D.* Hart's Legal Philosophy: An Examination. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992.
94. *Bergman G.* Logical Positivism, Language, and Reconstruction of Metaphysics / Rorty R. (ed.) The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method. – Chicago: The University of Chicago Press, 1992. – P. 63–71.
95. *Bergman G.* Logic and Reality. – Madison: The University of Wisconsin Press, 1964.
96. *Bernstein R.* Professor Hart on Rule of Obligation // Mind. – 1964. – Vol. 73. – P. 563–566.
97. *Bix B.* Law and Language: How Words Mislead Us // Legal Studies Research Paper. Research Paper. – 2009. – № 22. – P. 1–21.
98. *Bix B.* On Philosophy in American Law: Analytical Legal Philosophy // Legal Studies Research Paper. Research Paper. – 2008. – № 05. – P. 1–5.
99. *Bix B.* H.L.A. Hart and the Hermeneutic Turn in Legal Theory // Southern Methodist University Law Review. – 1999. – Vol. 52. – P. 167–199.
100. *Boden M.A.* In Reply to Hart and Hampshire // Mind, New Series. – 1959. – Vol. 68, № 270. – P. 256–260.
101. *Bodenheimer E.* Modern Analytical Jurisprudence and the Limits of Its Usefulness // University of Pennsylvania Law Review. – 1956. – Vol. 104. – P. 1080–1086.
102. *Boos E.J.* The Misapplication of the “Is-Ought” Distinction and the Role of Justice in Hart's Legal Theory // Sokoine University – Law, Vytutas Magnus University. – 2003. – № 10. – P. 1–20.
103. *Cavell S.* Must We Mean What We Say? A Book of Essays. – Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

104. *Coleman J.* The Practice of Principle. – Oxford: Oxford University Press, 2001.
105. *Corbett J.P.* Innovation and Philosophy // *Mind*. New Series. – 1959. – Vol. 68, № 271. – P. 289–308.
106. *Davis P.E.* “Action” and “Cause of Action” // *Mind*. – 1962. – Vol. 71, № 281. – P. 93–95.
107. *Devitt M.* The Metaphysics of Nonfactualism // *Nous*. – 1996. – Vol. 30. Supplement: 10. Metaphysics. – P. 159–176.
108. *Dickson J.* Evaluation in Legal Theory. – Oxford: Hart Publishing, 2001.
109. *Dickson J.* Methodology in Jurisprudence: A Critical Survey // *Legal Theory*. – 2004. – Vol. 10. – P. 117–156.
110. *Dummett M.* Origins of Analytical Philosophy. – Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1993.
111. *Dworkin R.* Law as Interpretation // *Texas Law Review*. – 1982. – Vol. 60. – P. 527–550.
112. *Dworkin R.* Law’s Empire. – London: Fontana Press, 1986.
113. *Endicott T.A.O.* Herbert Hart and the Semantic Sting // *Legal Theory*. – 1998. – Vol. 4, № 03. – P. 283–300.
114. *Farell I.P.* H.L.A. Hart and the Methodology of Jurisprudence // *Texas Law Review*. – 2006. – Vol. 84. – P. 983–1011.
115. *Geach P.T.* Ascriptivism // *Philosophical Review*. – 1960. – LXIX. – P. 221–225.
116. *Gerber D.* Levels of Rules and Hart’s Concept of Law // *Mind*. – 1972. – Vol. 81, № 321. – P. 102–105.
117. *Green M.S.* Dworkin’s Fallacy, or What the Philosophy of Language Can’t Teach Us About the Law // *Virginia Law Review*. – 2003. – Vol. 89. – P. 1897–1952.
118. *Green M.S.* Legal Realism as Theory of Law // *William and Mary Law Review*. – 2005. – Vol. 46, № 6. – P. 1915–2005.
119. *Hacker P.M.S.* Definition in Jurisprudence // *The Philosophical Quarterly*. – 1969. – Vol. 19, № 77. – P. 343–347.
120. *Hall J.* Analytic Philosophy and Jurisprudence // *Ethics*. – 1966. – Vol. 77, № 1. – P. 14–28.
121. *Halpin A.* The Methodology of Jurisprudence: Thirty Years Off the Point // *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*. – 2006. – Vol. XIX, № 1. – P. 67–105.
122. *Hampshire S., Hart H.L.A.* Decision, Intention, and Certainty // *Mind*. – 1958. – Vol. 67. – P. 1–12.
123. *Hart H.L.A.* Acts of Will and Responsibility // *The Jubilee Lectures of the Faculty of Law, University of Sheffield* / ed. O.R. Marshall. London: Stevens & Sons, 1960. – P. 115–144.
124. *Hart H.L.A.* Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer // *University of Pennsylvania Law Review*. – 1957. – Vol. 105. – P. 953–975.
125. *Hart H.L.A.* Essays in Jurisprudence and Philosophy. – Oxford University Press, 1983.
126. *Hart H.L.A.* Philosophy of Law and Jurisprudence in Britain (1945-1952) // *The American Journal of Comparative Law*. – 1953. – Vol. 2, № 3. – P. 355–364.
127. *Hart H.L.A.* Punishment and Responsibility. Essays in Philosophy of Law. – Oxford: Oxford Clarendon Press, 1968.
128. *Hart H.L.A.* Scandinavian Realism // *Cambridge Law Journal*. – 1959. – Vol. 17. – P. 233–240.
129. *Hart H.L.A.* Signs and Words // *The Philosophical Quarterly*. – 1952. – Vol. 2. – P. 59–62.
130. *Hart H.L.A., Honore.T.* Causation in the Law. Second Edition. – Oxford: Oxford Clarendon Press, 1985.
131. *Hart’s Postscript: Essays on the “Postscript” of “The Concept of Law”*. Ed. by Jules L. Coleman. – Oxford: Oxford University Press, 2001.

132. *Helm P.* Professor Hart on Action and Property // *Mind*, New Series. – 1971. – Vol. 80, № 319. – P. 427–431.
133. *Himma K.E.* H.L.A. Hart and the Practical Difference Thesis // *Legal Theory*. – 2000. – Vol. 6. – P. 1–43
134. *Himma K.E.* Editor's Introduction. From the issue entitled "Special Issue on Brian Leiter's Naturalizing Jurisprudence" // *Law and Philosophy*. – 2011. – Vol. 30, №. 4. – P. 377–379.
135. *Himma K.E.* Reconsidering a Dogma: Conceptual Analysis, the Naturalistic Turn, and Legal Philosophy // *Current Legal Issues: Law and Philosophy*, 2008. Доступно в SSRN: <http://ssrn.com/abstract=952910>.
136. *Himma K.E.* The Instantiation Thesis and Raz's Critique of Inclusive Positivism // *Law and Philosophy*. – 2001. – Vol. 20, № 1. – P. 61–79.
137. *Jackson F.* From Metaphysics to Ethics: A Defense of Conceptual Analysis. – Oxford: Oxford University Press, 1998.
138. *Kar R.B.* Hart's Unpublished Response to Exclusive Legal Positivism // *Loyola Law School. Legal Studies Research*. – 2005. – № 2005–16. – P. 7–60.
139. *Lacey N.* A Life of H.L.A. Hart: the Nightmare and the Noble Dream. – Oxford: Oxford University Press, 2004.
140. *Law, Morality and Society: Essays in Honour of H.L.A. Hart*. Ed. by P.M.S. Hacker and J. Raz. – Oxford: Oxford University Press, 1997.
141. *Leiter B.* Beyond the Hart/Dworkin Debate: The Methodology Problem in Jurisprudence // *American Journal of Jurisprudence*. – 2003. – Vol. 17. – P. 17–51.
142. *Leiter B.* Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy. – Oxford: Oxford University Press, 2007.
143. *Leiter B.* Naturalizing Jurisprudence: Three Approaches // *Public Law and Legal Theory Working Paper*. – 2008. – № 246. – P. 1–20.
144. *Leiter B.* Naturalism and Naturalized Jurisprudence // *Analyzing Law*. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – P. 79–104.
145. *MacCallum G.C.* Negative and Positive Freedom // *The Philosophical Review*. – 1967. – Vol. 76. – P. 312–334.
146. *MacCormick N.* H.L.A. Hart. Second Edition. – Stanford: Stanford University Press, 2008.
147. *Martinich A.P.* Introduction in "A companion to analytic philosophy", ed. by A.P. Martinich and David Sosa. – Oxford: Blackwell Publishers, 2001. – P. 1–5.
148. *Melden A.I.* Action // *The Philosophical Review*. – 1956. – Vol. 65, № 4. – P. 523–541.
149. *Oberdiek J., Patterson D.* Moral Evaluation and Conceptual Analysis in Jurisprudential Methodology // *Current Legal Issues: Law and Philosophy*, 2007. Доступно в SSRN: <http://ssrn.com/abstract=925628>.
150. *Patterson D.* Methodology and Theoretical Disagreement // *ESSAYS IN EUROPEAN LEGAL METHOD*, Ulla Neergaard, Ruth Nielsen and Lynn Roseberry, eds., DJOEF Publishing, 2011. Доступно в SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1748589>.
151. *Patterson D.* Wittgenstein and Constitutional Theory // *Texas Law Review*. – 1994. – Vol. 72. – P. 1837–1855.
152. *Pitcher G.* Hart on Action and Responsibility // *Philosophical Review*. – 1960. – LXIX. – P. 226–235.
153. *Raz J.* The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System. Second Edition. – Oxford: Oxford Clarendon Press, 1997.
154. *Rodriguez-Blanco V.* A Defence of Hart's Semantics as Nonambitious Conceptual Analysis // *Legal Theory*. – 2003. – Vol. 9. – P. 99–124.
155. *Rodriguez-Blanco V.* The Methodological Problem in Legal Theory: Normative and Descriptive Jurisprudence Revisited // *Ratio Juris*. – 2006. – Vol. 19, № 1. – P. 26–54.

156. Ross A. On Law and Justice. – Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1959.
157. Schauer F. Positivism Before Hart // Public Law and Legal Theory Research Paper Series. – 2010. – № 01. – P. 1–32.
158. Schauer F. (Re)Taking Hart // Harvard Law Review. – 2006. – Vol. 119. – P. 852–883.
159. Searle J.R. Speech Acts. An Essay in Philosophy of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
160. Simpson A.W.B. The Analysis of Legal Concepts // Law Quarterly Review. – 1965. – Vol. 80. – P. 535–558.
161. Singer M.G. Hart's Concept of Law // The Journal of Philosophy. – 1963. – Vol. 60, № 8. – P. 197–220.
162. Starr W.C. Law and Morality in H.L.A. Hart's Legal Philosophy // Marquette Law Review. – 1984. – Vol. 37. – P. 673–689.
163. Stern K. Mr. Hampshire and Professor Hart on Intention: A Note // Mind, New Series. – 1959. – Vol. 68, № 269. – P. 98–99.
164. Stoljar S. Ascriptive and Prescriptive Responsibility // Mind, New Series. – 1959. – Vol. 68, № 271. – P. 350–360.
165. Stroll A. Twentieth Century Analytic Philosophy. – New York: Columbia University Press, 2000.
166. Sugarman D. Hart Interviewed: H.L.A. Hart in Conversation with David Sugarman // Journal of Law and Society. – 2005. – Vol. 32, № 2. – P. 267–293.
167. Summers R.S. H.L.A. Hart on Justice // The Journal of Philosophy. – 1962. – Vol. 59, № 18. – P. 497–500.
168. Summers R.S. The New Analytical Jurists // New York University Law Review. – 1966. – Vol. 41. – P. 861–896.
169. *The Legacy of H.L.A. Hart: Legal, Political, and Moral Philosophy*. Eds. Matthew Kramer, Claire Grant, Ben Colburn, and Antony Hatzistavrou. – Oxford: Oxford University Press, 2008.
170. *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Legal Philosophy*. Eds. Jules L. Coleman., Scott Shapiro. – Oxford, 2002.
171. Twining W. General Jurisprudence: Understanding Law in Global Perspective. – New York: Cambridge University Press, 2009.
172. Finnis J. H.L.A. Hart a Twentieth-Century Oxford Political Philosopher // Oxford Legal Studies Research Paper. – 2009. – № 30. – P. 1–19.
173. Finnis J. On Hart's Ways: Law as Reason and as Fact // University of Oxford Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series. – 2008. – № 7. – P. 1–32.
174. Waluchow W.J. Inclusive Legal Positivism. – Oxford: Oxford Clarendon Press, 1994.
175. Watkins J. Responsibility in Context // Oxford Journal of Legal Studies. – 2006. – Vol. 26 № 3. – P. 593–608.
176. Weitz M. Oxford Philosophy // The Philosophical Review. – 1953. – Vol. 62, № 2. – P. 187–233.

ПРИПИСЫВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРАВ*

Г.Л.А. Харт

В нашем обыденном языке есть предложения, основная функция которых заключается не в том, чтобы описывать (*describe*) вещи, события, людей или что-то другое, не в выражении или разжигании чувств или эмоций, а в осуществлении таких действий, как правопритязания («Это – мое»), признание прав, утверждаемых другими («Хорошо, это – твое»), приписывание прав, на которые притязают или не притязают («Это – его»), передача прав («Теперь это – твое»), а также признание и приписывание ответственности или привлечение к ней («Это сделал я», «Это сделал он», «Это сделал ты»). Моя основная цель в данной статье заключается в предположении, что философский анализ понятия «человеческое действие» был неадекватен и вводил в заблуждение в значительной степени потому, что предложения формы «Это сделал он» традиционно считались дескриптивными (*descriptive*), тогда как их основная функция, которую я рискну назвать *аскриптивной* (*ascriptive*), состоит в том, чтобы приписывать (*ascribe*) ответственность за действия, а основная функция предложений формы «Это – его» заключается в приписывании права собственности. Хотя аскриптивные и другие указанные выше виды предложений составляют небольшую часть нашего обыденного языка, в некоторых важных аспектах они сходны с формальными исковыми заявлениями, обвинительными актами, признаниями, решениями суда и приговорами, формирующими столь же важную, сколь и значительную часть языка юристов. И логические особенности, которые отличают эти виды предло-

* Перевод выполнен по *Hart H.L.A. The Ascription of Responsibility and Rights // Essays on Logic and Language. 1951. Vol. 7. P. 145–166. / Пер. с англ. В.В. Оглезнева под ред. В.А. Суровцева.*

жений от дескриптивных предложений, или, скорее, от теоретической модели дескриптивных предложений, с которой часто работают философы, могут быть лучше всего поняты при рассмотрении определенных особенностей юридических понятий, поскольку они встречаются в юридической практике и делопроизводстве, а не в теоретических рассуждениях о правовых понятиях тех правоведов, которые подвержены влиянию со стороны философских теорий. Соответственно, в первой части этой статьи я попытаюсь выявить некоторые из этих характеристик правовых понятий; во второй части я попытаюсь показать, как предложения, приписывающие права, функционируют в нашем обыденном языке, а также почему игнорируется их отличительная функция; в третьей части я попытаюсь обосновать свое утверждение, что предложения формы «Это сделал он» существенно аскриптивны и что по крайней мере некоторые из философских загадок, связанных с «действием», происходили из невнимания к данному факту.

I

Как известно, решающей стадией при прохождении дела в суде, где применению подлежит английское право, обычно является *решение*, вынесенное судом в результате того, что установлена истинность определенных фактов (Смит подсыпал мышьяк в кофе своей жены, и в результате она умерла) и что эти факты влекут определенные юридические последствия (Смит виновен в убийстве). Таким образом, решение есть соединение или смешение фактов и права; разумеется, иски и обвинительные акты, на основании которых суд выносит решение, также являются смешениями фактов и права, хотя иски, обвинительные акты и судебные решения отличаются друг от друга. В отличие от определенных стандартных моделей, когда одно высказывание подтверждает или опровергает другое, на чем предпочитают сосредоточивать свое внимание философы, правовой элемент в этих соединениях или смешениях обладает некоторыми особенностями, которые привлекаются для того, чтобы предложить способ, которым факты подтверждаются или опровергаются, дабы подкрепить юридические выводы, отвергнуть или усомниться в них.

Поначалу это не столь очевидно, ибо, когда судья решает, что на основании обнаруженных фактов между *A* и *B* заключен договор купли-продажи, или содержатель бара виновен¹ в том, что предложил ликер констеблю на дежурстве, или *B* ответствен за причинение вреда, поскольку его лошадь паслась на земельном участке соседа, в терминологии *это выглядит* так, как если бы право должно было состоять из множества, если не системы, правовых понятий типа «договор», «преступление в предложении ликера констеблю при исполнении», «причинение вреда», изобретенных и определенных законодательным органом или каким-то другим «источником», и как если бы функция судьи заключалась просто в том, чтобы ответить «Да» или «Нет» на вопрос «Входят ли факты в сферу формулы, определяющей необходимые и достаточные условия “договора”, “нарушения владения” или “преступления в предложении ликера констеблю на дежурстве”?».

Но по многим причинам это является пагубным упрощением, а по существу искажением, ибо у правовых понятий есть такие особенности, которые часто делают абсурдным использование в отношении них языка необходимых и достаточных условий. С одной важной особенностью, которую я не собираюсь обсуждать в деталях, сталкивалось большинство людей. В Англии судья не снабжен точно сформулированными общими критериями, определяющими «договор» или «причинение вреда»; вместо этого он, ссылаясь на прошлые случаи, или прецеденты, должен вынести решение о том, был ли на основании представленных фактов заключен договор или причинен вред; и, поступая так, он обладает широкой свободой в суждении, достаточно ли близок данный случай прошлому прецеденту, а также в определении того, в чем состоит существо прошлого прецедента, или, как говорят юристы, в установлении *ratio decidendi* прошлых случаев. Это привносит в юридические понятия некоторую двусмысленность, весьма вольно трактуемую в интерпретации судебной традиции, а это имеет следствием то, что на требование определить правовое понятие – «Что такое причинение вреда?», «Что такое договор?» – нельзя удовлетворительно ответить, применив вербальное правило перевода юридического выражения в другие термины или

¹ The Licensing Act. 1872. S. 16.

в однозначно определенное множество необходимых и достаточных условий. *Кое-что* можно сделать, обеспечивая схему в форме общего высказывания о результатах прошлых случаев; и именно так студент начинает изучать право. Но помимо этой точки зрения ответы на вопросы «Что такое причинение вреда?», «Что такое договор?» при надлежащем понимании должны принимать форму ссылок на наиболее значимые судебные прецеденты с добавлением выражения «и так далее» (*etcetera*).

Однако для моей нынешней цели более важна другая особенность юридических понятий, которая при любом их разъяснении или определении столь же неизбежным (как и выражение «и так далее») делает выражение «если не» (*unless*); и необходимость этого можно увидеть, исследуя различные способы, которыми можно опровергнуть юридические утверждения. Ибо обвинительные акты или иски, на основании которых суды выносят приговор, обычно можно оспорить или отклонить двумя способами. Во-первых, опровержением фактов, на которых они основываются (технически называемым возражением по существу обвинения или достижением согласия в отношении спорного вопроса), и, во-вторых, совершенно иным способом, а именно, хотя в исковом заявлении присутствуют все обстоятельства, при которых иск мог бы быть удовлетворен, однако в особом случае иск или обвинение не следует удовлетворять, поскольку имеются другие обстоятельства, которые подводят этот случай под некоторое известное исключение, действие которого состоит в том, чтобы отклонить иск или обвинение вообще или «свести» его к признанию более слабого иска. Так, ссылка на «провокацию» в делах об убийстве в случае успеха «сводит» то, что в противном случае было бы убийством, к непредумышленному убийству; так же и в случае с договором защита состоит в том, что, поскольку ответчик был намеренно введен истцом в заблуждение, это основание в определенных обстоятельствах дает ответчику право сказать, что договор, по его мнению, юридически не действителен и не «ничтожен», но «оспорим». В результате таким правовым понятиям, как «причинение вреда» или «договор», обычно невозможно дать определение, устанавливая необходимые и достаточные условия их применения. Ибо любое множество условий может быть адекватным в одних, но не в других случаях, а сами эти понятия мо-

гут быть объяснены только в перспективе перечня исключений или отрицательных примеров, показывающих, где данное понятие не может быть применено или может быть применено в ослабленной форме.

В деталях это можно проиллюстрировать на примере договорного права. Когда студент усвоил, что в английском праве есть позитивные условия, требуемые для существования действительного договора (т. е., по крайней мере, есть две *стороны*, *предложение* одной стороны, *принятие* предложения другой стороной, в некоторых случаях письменный *меморандум* и *материальное основание договора*), его понимание правового понятия договора все еще неполно и остается таковым, даже если он усвоил юридическую технику интерпретации специальных, но все же смутных терминов вроде «предложение», «принятие», «меморандум», «материальное основание». Ибо эти условия, будучи необходимыми, не всегда достаточны, и даже если все эти условия удовлетворены, он еще должен изучить, что может *отменить* (*defeat*) притязание о действительности договора. Студент должен еще изучить, что может следовать за выражением «если не», которое сопровождает утверждение этих условий. Для этой особенности правовых понятий в обычном английском языке нет выражения. Слова «условный» (*conditional*) и «негативный» (*negative*) имеют ошибочные следствия, но в праве есть слово, которое я с некоторыми колебаниями одалживаю и расширяю. Это слово «отменяемый» (*defeasible*), используемое в имущественном праве, которое подлежит прекращению или «отменяется» при ряде различных случайных обстоятельств, но остается неприкосновенным, если таких непредвиденных обстоятельств нет. Таким образом, в этом смысле договор – отменяемое понятие.

Перечень возражений (*defences*), которыми можно встретить обоснованные притязания договора, заслуживает исследования философа, поскольку главным образом именно здесь обнаруживается указание на фактор, который интригует его – ментальный фактор. Так, основные возражения включают следующее:¹

¹ Разумеется, этот перечень содержит только краткий обзор наиболее важных возражений, достаточный для иллюстрации того, что отменяемое понятие договора не может

A. Возражения, указывающие на знание, которым обладает ответчик.

i. Намеренное введение в заблуждение.

ii. Ненамеренное введение в заблуждение.

iii. Неразглашение существенных фактов (только в особых случаях, например в договорах страхования).

B. Возражения, указывающие на то, что можно назвать волей ответчика.

i. Принуждение.

ii. Злоупотребление влиянием.

C. Возражения, которые могут охватывать как знание, так и волю.

i. Невменяемость.

ii. Опьянение.

D. Возражения, указывающие на общую политику права, связанную с воспрепятствованием определенным типам договора, таким как:

i. Договоры, преследующие безнравственные цели.

ii. Договоры, необоснованно ограничивающие свободу торговли.

iii. Договоры, препятствующие осуществлению правосудия.

E. Возражения, указывающее на «невозможность выполнения» договора или на «сорвавшийся договор» вследствие непреодолимых и непредвиденных обстоятельств, например внезапного начала войны.

F. Возражения, что иску препятствует срок давности.

Большинство из этих возражений имеют общее применение ко всем договорам. Некоторые из них, например представленные в группе **D**, вообще разрушают утверждение, что имеет место договор, лишая его юридической силы *ab initio*. Другие, например группы **B** или **C**, имеют более слабое действие, предоставляя заинтересованным сторонам право «оспорить» договор, и пока эта возможность не реализована, договор остается в силе, так что

быть определено множеством необходимых и всегда достаточных условий. В этом перечне есть важные пропуски, например спорный вопрос, известный юристам как «ошибка». Адекватное обсуждение и иллюстрацию этих и других возражений можно найти в учебниках по договорному праву, например: *Cheshire and Fifoot*. Law of Contract. Chap. IV.

права по нему могут быть приобретены третьими лицами. Истечение же срока исковой давности, упомянутое в группе **F**, просто аннулирует право осуществить процессуальные действия, в иных случаях никак не воздействуя на существование договора. Поэтому ясно, что без указания на эти чрезвычайно разнородные возражения и способы, которыми они соответственно отменяют или ослабляют притязания договора, никакой адекватной характеристики договора как правового понятия дать нельзя. Отменяемость этого понятия неотделима от него, и игнорировать это — значит неправильно его понять. Но, разумеется, *можно* затемнить характер таких понятий, подгоняя их под общую формулу, по-видимому, отвечающую требованию, которое часто ощущает теоретик при определении с точки зрения множества необходимых и достаточных условий. И поскольку, как я думаю, философы именно таким способом затемнили отменяемый характер понятия «действие», важно рассмотреть, как такую затемняющую общую формулу можно было бы обеспечить в случае договора и к чему это ведет.

Так, теоретик, стремясь снабдить договор общим определением, мог бы, скажем, начать с разбора возражений групп **A**, **B** и **C**, указывающих на волю и знание ответчика, затем доказывая, что факт допустимости и дозволенности этих возражений показывает, что определение договора требует в качестве необходимых условий, чтобы стороны были полностью «информированы», а их воля была «свободна». И действительно, теоретики права, а иногда и судьи, во многом подобным образом пытаются установить правовые «принципы» договора. Так, сэр Фредерик Поллок, рассматривая согласие сторон,¹ требуемое для заключения действительного договора, говорит: «Но чтобы сделать согласие обязывающим того, кто его дает, нам еще требуются другие условия... Согласие должно быть подлинным, полным и свободным». Конечно, такой метод толкования права может быть безвредным и даже полезным, как резюме различных возражений, которое с пользой подчеркивает свою универсальную применимость ко

¹ *Principles of the Law of Contract*. 10th ed. P. 442. Опущены слова: «хотя их отсутствие вообще не должно допускаться, и от стороны, стремящейся реализовать договор, не ждут утвердительного доказательства, что они были удовлетворены».

всем договорам или придает особое значение сходствам между ними, а потому предлагает аналогии для дальнейшего развития права или так называемые «причины» для такого развития. Но если многое не поддается точной квалификации, то такая общая формула может ввести в глубокое заблуждение. Для доктрины, которая смотрит позитивно, утверждение «согласие должно быть подлинным, полным и свободным» является верным в качестве выражения права, только если рассматривается в качестве сжатого указания на возражения, согласно которым притязания договора могут быть ослаблены или оспорены, так как это предполагает, что существуют определенные психологические элементы, требуемые правом как необходимые условия договора, и что возражения принимаются только как их негативное *доказательство*. Но, например, возражение о том, что *B* заключил договор с *A* в результате оказанного на него давления со стороны *A*, представляет собой не доказательство отсутствия фактора, называемого «подлинным согласием», но одним из множественных критериев употребления фразы «неподлинное согласие». Сказать, что право требует подлинного согласия – фактически значит сказать, что допустимы такие возражения, как злоупотребление влиянием или принуждение, а также другие, связанные с ними. И это проясняет юридическая практика (где общие фразы, вроде «подлинное согласие», имеют мало значения), в отличие от ее теоретического выражения правоведами (где общие понятия весьма значимы); ибо от стороны, пытающейся навязать договор, не требуют привести свидетельство того, что имело место «подлинное, полное и свободное согласие», хотя в особых случаях, когда опекун пытается навязать договор человеку, опекуном которого он является, бремя доказывания отсутствия влияния фактически лежит на нем. Но даже здесь доказательство, конечно, состоит просто в исключении тех фактов, которые обычно образуют такое возражение, как злоупотребление влиянием, хотя бремя доказывания в таких случаях и ложится на истца. Конечно, теоретик мог бы сделать неопровержимой свою теорию о том, что есть психологические элементы («полное и свободное согласие»), требуемые как необходимые условия договора, приписывая действительную судебную процедуру практическим трудностям доказывания «ментальных фактов»; и иногда говорилось, что то, что «объек-

тивная проверка» этих элементов принимается и что обычно на ответчика возлагается бремя доказывания не существования этих необходимых элементов, есть просто предмет практического удобства. Такой доктрине содействует двусмысленность слова «проверка» (*test*) в отношении между свидетельством и критериями. Но настаивать на этом как на «реальном» объяснении действительной судебной процедуры применительно к отменяемому понятию договора – значит просто выразить упрямую преданность убедительному, но вводящему в заблуждение логическому идеалу, согласно которому все понятия должны поддаваться определению посредством множества необходимых и достаточных условий. И, конечно, даже если бы эта программа была осуществлена для возражений, включающих «ментальный» элемент, трудно понять, как ее можно реализовать в отношении других возражений, с помощью которых можно было бы оспорить пункты договора,¹ а значит, отменяемый характер этого понятия по-прежнему сохранялся бы.

Основная область, где юристы, как я думаю, сами создали для себя затруднения (отчасти под влиянием традиционного философского анализа действия), игнорируя существенно отменяемый характер понятий, которые они стремились прояснить, – это уголовное право. Есть широко известный принцип: «*Actus non est reus nisi mens sit rea*», склоняющий правоведов (и, в меньшей степени, судей) предложить такой тип общей теории «ментального элемента» в преступлении (*mens rea*), который является логически не пригодным как раз потому, что привлекаемые понятия оказываются отменяемыми и искажаются этой формой определения. Ибо в случае преступления, как и в случае договора, можно составить перечень возражений или исключений, которые позволят с различными последствиями оспорить различные уголовные обвинения, и показать, что попытки определить общие моменты «ментальных условий» ответственности, как и общей теории договора, предложенной в предыдущем абзаце, только тогда не вводят в заблуждение, когда их позитивные и общие моменты

¹ Конечно, можно согласие и другие позитивные условия договора, определяя их как необходимые и достаточные условия, а также отрицание дизъюнкции различных возражений, сделать бессодержательными.

рассматриваются просто как подтверждение или резюме того факта, что признаются различные разнородные возражения или исключения. Верно, что в случае преступления положение сложнее, чем в случае договора, поскольку немногие возражения применяются ко всем преступлениям (есть ощутимые различия между преступлениями, предусмотренными статутом и предусмотренными общим правом), а для некоторых преступлений требуется доказательство особого умысла. Далее, говорить о возражениях *или исключениях* в случае преступления необходимо, поскольку в некоторых случаях, например в случае убийства, на сторону обвинения возлагается доказывание отсутствия обстоятельств, которые, в случае их наличия, отменяли бы обвинительное заключение. Однако то, что подразумевается под ментальным элементом уголовной ответственности (*mens rea*), должно пониматься только посредством рассмотрения определенных возражений или исключений, вроде фактической ошибки, несчастного случая, принуждения, давления, провокации, невменяемости, несовершеннолетия,¹ многие из которых приходится допускать в большинстве преступлений, в одних случаях просто «смягчая» ответственность, а в других вообще исключая ее. Тот факт, что их допускают в качестве возражений или исключений, составляет ценность принципа «*Actus non est reus nisi mens sit rea*». Но преследуя недостижимую цель общей формулировки, теоретики права стремились навязать спорное единство (против чего иногда протестуют судьи) этим разнородным средствам защиты и исключениям, предполагая, что они допускаются просто в качестве свидетельства отсутствия некоторого единого элемента («умысел» (*intention*)) или, в более современной версии, двух элементов («предвидение» (*foresight*) и «добровольность» (*voluntariness*)), всегда требуемых в качестве необходимых условий уголовной ответственности. И это вводит в заблуждение, поскольку то, что теоретик ложно представляет как очевидное отрицание наличия необходимых ментальных элементов, фактически представляет собой многообразные критерии или основания, отменяющие обвинение в ответственности. Но легко впасть в иллюзию того, что

¹ Обсуждение этих и других возражений и исключений см. подробнее в: *Kenny. Outlines of Criminal Law. Chap. IV.*

точное и удовлетворительное «определение» можно сформулировать с помощью понятий вроде «добровольность», поскольку логический характер слов наподобие «добровольный» аномален и неверно понят. В таких определениях они трактуются как слова, имеющие позитивное воздействие, однако, как можно видеть из рассуждений Аристотеля в третьей книге *Никомаховой этики*, слово «добровольный» фактически служит для того, чтобы исключить разнородную область случаев, вроде физического принуждения, угроз, несчастных случаев, ошибок и т.д., а не для того, чтобы обозначить ментальный элемент или состояние; точно так же «недобровольный» не обозначает отсутствие этого ментального элемента или состояния.¹ Точно так же и в случае убийства возражение состоит в том, что обвиняемый нажал на спусковой крючок осознанно, но ошибочно веря, что оружие было не заряжено, или что это был несчастный случай, потому что пуля неожиданно срикошетила от дерева, или что обвиняемый был невменяемым (в смысле правового определения невменяемости) или несовершеннолетним. Особым возражением, «сводящим» обвинение в убийстве к обвинению в непредумышленном убийстве, является и случай, когда обвиняемый в состоянии аффекта выстрелил в потерпевшего, обнаружив последнего в постели со своей женой. Конечно, *можно* представить допущение этих различных возражений или исключений как демонстрацию того, что

¹ Так, м-р Тёрнер в своем известном эссе (*Turner J.W.C. Mental Element in Crimes at Common Law // The Modern Approach to Criminal Law. English Studies in Criminal Science. Vol. I. P. 199*) устанавливает два правила, определяющие ментальный элемент. Первое правило: «Необходимо доказать, что поведение обвиняемого было добровольным». Второе правило: «Необходимо доказать, что... он должен был предвидеть, что определенные последствия, вероятно, последуют за его действиями или бездействием» (Р. 199). Точка зрения м-ра Тёрнера есть действительное улучшение предыдущих попыток «определить» в преступлении ментальный элемент, поскольку он настаивает на том, что не существует единого условия, именуемого *mens rea*, а также, в своем утверждении на с. 199, что степень «предвидения последствий» должна иметь расширительные отличия в каждом конкретном преступлении. Тем не менее эта процедура фактически затемняет понятия, для прояснения которых она предназначалась, поскольку слова «добровольно» и «недобровольно» используются так, как если бы они указывали соответственно на наличие или отсутствие у агента некоторого единого условия. Так, на с. 204 м-р Тёрнер то же самое название «недобровольное поведение» дает случаям действий, совершенных под гипнотическим внушением или в состоянии лунатизма, «чистым» несчастным случаям и определенным случаям невменяемости, опьянения и несовершеннолетия, а также случаю, где *B* держит оружие, а *A*, против воли *B*, хватает его за руку и оружие и, вследствие этого, ранит *C*.

имеются один («добровольность») или два («добровольность» и «предвидение») ментальных элемента, требуемые в качестве необходимых ментальных условий (*mens rea*) полной уголовной ответственности. Но для определения того, что такое «предвидение» и «добровольность» и каким образом установлено их наличие или отсутствие, необходимо вновь указать на различные выражения; и тогда эти общие слова просто предполагают подходящие, но иногда вводящие в заблуждение выводы, выражающие отсутствие всех разнообразных условий, указывающих на знание или волю совершившего преступление, которые устраняют или смягчают ответственность.

Рассмотрение отменяемого характера правовых понятий помогает объяснить, каким образом высказывания о фактах подтверждают или опровергают правовые выводы, и, тем самым, интерпретировать фразы, используемые юристами для связи между фактом и законом, когда они говорят о «правовом результате или последствиях фактов», «правовом заключении, выведенном из фактов» или о «последствиях, приписанных фактам». В частности, это показывает, насколько ошибочно было бы впасть в искушение, предлагаемое современными теориями значения, отождествить значение правового понятия, скажем «договора», с высказыванием условий, при которых договоры имеют силу, поскольку, благодаря отменяемому характеру этого понятия, такое высказывание, хотя оно и выражало бы необходимые, а иногда и достаточные условия применения «договора», не могло бы выражать условия, которые достаточны всегда. Впрочем, любая такая теория значения правовых понятий потерпела бы неудачу по многим более фундаментальным причинам, ибо она не способна ни передать сложный характер этих понятий, ни допустить того, что данные отличительные особенности обязаны тому факту, что элементы этой сложности относятся к иным логическим типам.

Для анализа действия особое значение имеют две из этих отличительных особенностей, которые проистекают из тавтологии – судья судит, ибо это имеет два важных следствия. Во-первых, функция судьи, например в случае с договором,¹ состоит в том, чтобы сказать, имеет место действующий договор или же нет, на

¹ В уголовных делах могут встретиться иные соображения.

основании действительно предъявленных и заявленных ему притязаний и возражений или фактов, предъявленных его вниманию, а не тех, которые могли бы быть предъявлены или заявлены. Давать идеально правильную правовую интерпретацию фактов – не его функция, и если сторона договора (являющаяся *sui juris*) из-за плохой консультации или по другим причинам не в состоянии заявить притязание или защищаться в суде, что она с успехом могла бы сделать, то судья, принимая по такому делу на основании фактически предъявленных притязаний и возражений решение, что действующий договор имеет место, поступил правильно. Это не просто лучшее решение, которое судья может принять при данных обстоятельствах, и было бы неправильным в судебном процессе по такому делу утверждать, что стороны просто действовали, как если бы договор имел место. Применительно к судебным решениям договор *имеет место* во вневременном смысле слова «иметь». Во-вторых, поскольку судья решает, что на основании представленных ему фактов договор имеет или же не имеет место, а принять такое решение не означает описать факты или сделать индуктивные или дедуктивные выводы из высказываний о фактах, – то, что он делает, может быть *правильным* либо *ошибочным* решением или *хорошим* либо *плохим* приговором и может быть *подтверждено* либо *отменено* или (там, где он не имеет юрисдикции решать вопрос) аннулировано. О решении нельзя сказать, что оно *истинно* либо *ложно*, логически необходимо либо абсурдно.

Вероятно, не многие попытаются трактовать судебное решение как дескриптивное высказывание или утверждать, что факты относятся к правовым выводам так, как высказывания о фактах могут относиться к дескриптивным высказываниям, которые они подтверждают, хотя я думаю, что упомянутая мной тенденция рассматривать исключения или возражения, которые могут отменить притязания или обвинения, просто как свидетельство отсутствия некоторого необходимого условия, требуемого законом при полном определении юридического понятия, фактически является попыткой уподобить судебное решение теоретической модели дескриптивного высказывания, ибо это выражает ощущение, что случаи, в которых договоры считаются не имеющими места, «должны» быть случаями, в которых отсутствует некоторое не-

обходимое условие, требуемое при определении договора. Но иногда право приводится как пример дедуктивной системы в действии. Говорят, что «при существующем праве высказывание о фактах, признанное судьей, влечет правовое последствие». Конечно, это можно было бы сказать только в наиболее простых из возможных случаев, где в ходе судебного разбирательства не возникает проблемы за исключением той, которую здравый смысл назвал бы проблемой факта, т.е. когда стороны согласны, что если факты следуют определенным образом, то случай подпадает под некоторую правовую норму, а если иным образом, то не подпадает, и не возникает вопроса о значении или интерпретации правовой нормы. Но даже здесь было бы совершенно ошибочным сказать, что судья делает дедуктивное умозаключение, поскольку вневременное правовое заключение (Смит виновен в убийстве) не влекут подтверждающие его высказывания о временном факте (Смит подмешал мышьяк в кофе своей жены 1 мая 1944 г.). И правовые нормы, даже будучи воплощены в статутах, не являются лингвистическими или логическими правилами, но в значительной степени – правилами для принятия решения.

II

Если мы отвлечемся от судов, то обнаружим, что в обыденном языке есть много выражений, которые в существенных отношениях, несмотря на важные различия, напоминают судебное смешение права и факта. Но для начала нужно выделить некоторые случаи, не являющиеся примерами этого феномена, но важные, поскольку они помогают объяснить, почему он оставался без внимания.

А. Во-первых, мы, конечно, очень часто употребляем правовые понятия в дескриптивных и иных предложениях, и предложения, в которых мы таким образом их используем, могут быть высказываниями, а следовательно, в отличие от решения судьи, в котором правовые понятия используются по преимуществу, могут быть истинными или ложными. Примерами являются очевидные случаи, когда мы указываем на людей или вещи с помощью их известных правовых последствий, статуса или положения. «Кто эта женщина? – Она жена Робинсона и приемная дочь Сми-

та, которая унаследовала все его имущество». «Что это в мусорной корзине? – Мой договор с Джоном Смитом».

В. Во-вторых, мы можем указывать на вещи, события и действия не с помощью их известных правовых последствий, но с помощью их подразумеваемого или предполагаемого юридического последствия или положения. «Что вчера делал Ваш отец? – Он составлял завещание». Следует заметить, что это употребление может вызвать любопытные затруднения, если позднее обнаружится, что предполагаемое или подразумеваемое правовое заключение не было установлено. Что бы мы сказали о записанном в моем дневнике предложении: «Вчера мой отец составил завещание», если бы оказалось, что, поскольку это не было засвидетельствовано и Шотландия не является его постоянным местом жительства, суды отказываются признать это в качестве завещания? Является ли предложение в моем дневнике ложным? Я думаю, нам следует воздержаться от утверждения, что оно ложно; с другой стороны, мы не повторили бы это предложение после принятия судебного решения. Следует также заметить, что мы можем употреблять свою собственную правовую систему и ее понятия с целью описания не подпадающих под нее вещей или людей, как в случае, когда мы говорим о собственности отшельников, живущих на необитаемых островах.

С. В-третьих, даже за пределами судов мы используем язык права для предъявления или отклонения притязаний. «Вчера мой отец составил завещание» может на самом деле быть притязанием, а не чисто дескриптивным высказыванием, хотя, конечно, оно и будет содержать некую информацию, поскольку с притязанием смешано указание на некоторые подтверждающие факты. Как притязание оно позднее может быть удовлетворено или отклонено судом, но оно не является истинным или ложным.

Во всех этих примерах, хотя такие предложения и произносятся в обыденной жизни, используется технический словарь права, и поэтому мы готовы к возможности того, что они не функционируют как дескриптивные предложения, хотя очень часто они функционируют именно так. Однако рассмотрим теперь предложения, где употребляемые слова получают свое значение из правовых или социальных институтов, например института собственности, но являются простыми неспециальными по-

нениями. Таковы простые изъявительные предложения, в которых притяжательные местоимения «мое», «твое», «его» выступают в качестве грамматических предикатов. Предложения «Это – мое», «Это – твое», «Это – его» по преимуществу являются предложениями, для которых правоведы придумали выражение «оперативные слова» (*operative words*), а м-р Дж.Л. Остин слово «перформативный» (*performatory*).¹ Произнося такие предложения, особенно в настоящем времени, мы часто не описываем, но фактически осуществляем или производим некое действие; с их помощью мы *притязаем* на право собственности, *наделяем* такими правами или *передаем* их, когда на них притязают, *признаем* или *приписываем* такие права, притязают на них или же нет; и когда эти слова употребляются таким способом, они соотносятся с подтверждающими их фактами во многом тем же самым образом, что и решение судьи. Но помимо этого данные предложения, особенно в прошедшем и будущем времени, имеют множество других употреблений, которые в целом нелегко вычленишь из того, что я назвал их первичным употреблением. С помощью скользящей шкалы увеличивающегося приближения к чис-то дескриптивному употреблению это можно показать следующим образом:

(а) Во-первых, оперативное или перформативное употребление. «Это – твое», сказанное отцом, передающим свои золотые часы сыну, обычно имеет следствием переход прав отца на часы к сыну, т.е. делает их подарком. Произнесенное старшим сыном в конце спора со своим братом относительно семейных владений, это предложение вводит в силу признание прав младшего сына и отказ от притязаний старшего. Конечно, в подобных случаях затруднения могут возникнуть разнообразными способами, аналогичными проблемам, с которыми сталкивается судья; мы можем спросить, является ли употребление этих слов имеющим силу методом дарения. Если критерием является английское право, то в приведенном примере ответ – да; но ответом может быть и «нет», если бы то, на что указывал отец, были не его часы, а его дом, хотя в этом случае может случиться так, что мы должны рассматривать сына морально наделенным правом на дом, а отца – морально обязанным передать ему его.

¹ Рассмотрение им некоторых случаев см. в «Other Minds» (*Proceedings of the Aristotelian Society. Suppl. Vol. XX. P. 169–74*).

Это показывает, что правила, лежащие в основании таких случаев произнесения, не обязательно являются правовыми нормами. Но я хочу обратить внимание на случай, когда мы употребляем такие предложения не для передачи прав или наделения ими, но для приписывания или признания их. Здесь индивид, подобно судье, на основании определенных фактов решает, что некто другой имеет определенные права, и его признание, подобно судебному решению, является смешением факта и нормы.

(b) Во-вторых, предложения вроде «Это – мое», «Это – твое», «Это – его» могут употребляться просто как дескриптивные высказывания для описания вещей с помощью указания их владельцев. Принимая гостей в своем поместье, я говорю, указывая на поле, «Это – мое» или «Это принадлежит мне» просто для сведения.

(c) В-третьих, в повседневной жизни встречается в значительной степени случайное аскриптивное использование этих предложений, которое трудно классифицировать. Предположим, мы встаем, чтобы идти, я вижу, что вы забыли ручку, и подаю ее вам, говоря «Это – ваше», или, предположим, я прогуливаюсь по улице и замечаю, как человек впереди меня вынимает носовой платок и часы выпадают из его кармана. Я поднимаю их и возвращаю ему со словами «Это – ваше». Можно попытаться сказать, что здесь мы употребляем предложение просто как дескриптивное высказывание, эквивалентное «Вы это несли и выронили или потеряли»; но то, что это, во всяком случае, не так ясно, видно из следующего рассуждения. Если после того, как мы вернули часы, подъезжает полиция и арестовывает человека за кражу, я вряд ли повторю это предложение и не скажу, что оно было истинным, хотя, если бы оно было «описанием» физических фактов, почему бы мне этого не сказать? С другой стороны, я не скажу, что то, что я сказал, было ложным. Дело, конечно, заключается в том, что самой общей причиной для признания за человеком определенного права на владение вещью является то, что его физически наблюдали как ее владельца; и, конечно, при данных обстоятельствах будет правильным приписать такие права предложением «Это – ваше» в отсутствие каких-либо притязаний или особого обстоятельства, которые могут их отменить. Но как индивидуумы мы не находимся в положении судей, наше решение не является

окончательным, и когда мы замечаем новые обстоятельства или новые притязания, в их свете мы вновь должны принимать решение. Однако в других отношениях функция предложений этого простого и неспециального вида имеет сходство с функцией судебных решений. Затронутые понятия, подобно правовым понятиям, являются отменяемыми и сходным образом относятся к подтверждающим фактам. Можно было бы встать на героический путь, говоря, что предложения вроде «Это – его», «Это – твое» просто приобрели, как слово «давать», чисто дескриптивный смысл и обозначают обычные физические факты, на основании которых, как правило, приписываются права владения; но это не объяснило бы особенность нашего употребления и склонило бы к ошибке игнорирования их отменяемого характера и отождествления значения выражения, с помощью которого мы принимаем решение или приписываем права, с фактическими обстоятельствами, которые в отсутствие других притязаний являются для них хорошими причинами. С большим правдоподобием можно сказать, что у выражений «мое», «твое», «его» есть смысл, который является дескриптивным, – смысл, в котором моими являются мои зубы (в отличие от моих *вставных* зубов) или мои мысли и чувства. Но, конечно, в отношении них мы не произносим выражений вроде «Это – мое», «Это – твое», «Это – его»; в этом и заключается их логический характер, который меня интересует.

III

Именно столько для приписывания и признания прав мы получаем в результате простого произнесения «Это – твое», «Это – его» и взаимодействующего или производного дескриптивного использования этих предложений. Теперь я хочу защитить сходный, но, возможно, более спорный тезис о том, что понятие человеческого действия – это аскриптивное и отменяемое понятие и что многие философские затруднения возникают вследствие игнорирования этого и поиска для данного понятия необходимых и достаточных условий. Я полагаю, что предложения «Это сделал я», «Это сделал ты», «Это сделал он» по преимуществу представляют собой произнесения, посредством которых мы *признаем* или *допускаем* ответственность, выдвигаем обвинения или *приписы-*

ваем ответственность; и тот смысл, в котором наши действия являются нашими, во многих отношениях сходен с тем смыслом, в котором нашей является собственность, хотя эта связь не обязательно является *vinculum juris*, ответственностью в соответствии с позитивным правом. Конечно, подобно уже рассмотренным произнесениям, связанным с недескриптивным понятием собственности, глагол «делать» (*to do*) и, в общем случае, глаголы действия имеют важное дескриптивное употребление, особенно в настоящем и будущем времени, аскриптивное же их употребление применяется в основном в прошедшем времени, где глагол часто и вневременен, и прямо указывает на прошлое как отличное от настоящего. В сущности, столь важное дескриптивное употребление глаголов действия должно запутывать еще больше, чем в случае недескриптивного употребления «Это – твое», «Это – его» и т.д. Но я считаю, что логический характер глаголов действия обнаруживается во многих особенностях, которые у предложений, содержащих такие глаголы в прошедшем времени, являются общими с предложениями в настоящем времени, употребляющими притяжательные местоимения («Это – его» и т.д.), и потому – с судебными решениями, посредством которых правовые последствия объединяются с фактами.

Я могу лучше представить свою точку зрения, противопоставляя ее той, которую я считаю ошибочной и которая тем не менее является традиционным философским анализом понятия действия. «Что отличает физическое движение человеческого тела от человеческого действия?» – вот знаменитый философский вопрос. Старый ответ состоял в том, что различие коренится в имеющих место до или одновременно с физическим движением обстоятельствах ментального события, относящегося (как надеялись) к физическому движению как его психологическая причина; и это событие мы называем «наличием умысла», «нашей установкой», «волеизъявлением» или «желанием» совершить рассматриваемое действие. Современный ответ таков: сказать, что *X* осуществил действие – значит утверждать категорическое суждение о движении его тела и общее гипотетическое суждение или суждения в том смысле, что *X* отреагировал бы иными способами на иные стимулы, или что его тело не двигалось бы, как оно двигается, или некоторых физических последствий можно было бы

избежать, поступи он иначе, и т.д. Во многих отношениях оба этих ответа кажутся мне ошибочными или, по крайней мере, неадекватными, и тот и другой совершают общую ошибку, предполагая, что адекватный анализ понятия человеческого действия можно дать какой-то комбинацией дескриптивных предложений, категорических или гипотетических, или какими-то предложениями, целиком связанными с отдельным индивидуумом. Чтобы увидеть это, сравним с традиционным вопросом о действии вопрос: «В чем разница между участком (*piece*) земли и долей (*piece*) собственности?» Собственность не является дескриптивным понятием, и разница между «Это – участок земли» или «Смит владеет участком земли», с одной стороны, и «Это – чья-то собственность» и «Смиту принадлежит доля собственности» – с другой, не может быть объяснена без ссылки на недескриптивное произнесение, посредством которого провозглашаются законы и принимаются решения, или, по крайней мере, без ссылки на те произнесения, посредством которых признаются права. Также, я полагаю, нельзя провести различие между «Его тело пришло в соприкосновение с другим» и «Это сделал он» (например, «Он ее ударил») без ссылки на недескриптивное употребление предложений, посредством которых приписываются обязанности или ответственность. Фундаментальная ошибка как старой, так и новой версии традиционного анализа действия как комбинации физических и психологических событий или комбинации категорических и гипотетических дескриптивных предложений состоит в ошибочной идентификации значения недескриптивного произнесения, приписывающего ответственность в более жесткой или более мягкой форме, с фактическими обстоятельствами, которые подтверждают приписывание или являются его достаточными причинами. Иными словами, хотя, разумеется, не все правила, согласно которым в нашем обществе приписывается ответственность, отражаются в нашем законодательстве, тем не менее *vice versa* наше понятие действия, подобно понятию собственности, является социальным понятием и логически зависит от принятых правил поведения. По характеру оно существенным образом не дескриптивно, а аскриптивно; оно представляет собой отменяемое понятие, определяемое посредством исключений, а не посредством множества необходимых и достаточных условий, фи-

зических или же психологических. Это расхождение подкрепляется следующими соображениями.

Во-первых, когда после наблюдения за физическими движениями того, кто действует, в отношении другого мы, отвечая на вопрос «Кто ее ударил?» или «Кто это сделал?», говорим: «Смит ее ударил» или «Это сделал Смит» – мы, конечно, не рассматриваем этот ответ как комбинированное утверждение о том, что имело место физическое движение тела Смита и что в сознании Смита произошло некое подразумеваемое ментальное событие (он задавался целью или намеревался ее ударить); ибо, сделав подобную ссылку на психологические обстоятельства, мы нечто добавили бы к данному ответу. Точно так же мы не рассматриваем этот ответ как комбинацию категорических или гипотетических предложений, описывающих физическое движение и установку Смита или то, что случилось бы, поступи он иначе. Наоборот, при данных обстоятельствах высказывание «Он ее ударил», подобно высказыванию «Это – его», является смешением. Оно приписывает ответственность, подтвержденную фактами; ибо наблюдаемые физические движения тела Смита суть обстоятельства, которые, в отсутствие определенных возражений, подтверждают аскриптивное предложение «Это сделал он» или являются его достаточными причинами. Но, разумеется, «Это сделал он» отличается от «Это – его», ибо мы приписываем ответственность, а не права.

Во-вторых, используя особенность отменяемых правовых произнесений, в предложении «Смит ее ударил» можно сомневаться двумя различными способами. Смит или кто-то другой могут прямо отрицать соответствующее высказывание о физических фактах: «Нет, это был Джонс, а не Смит». В другом случае любое из множества возражений (но не суммарно, поскольку мы не в суде) может быть заявлено Смитом или его друзьями, которые, хотя и не разрушают обвинение в целом, но смягчают или, как говорят, «сводят» его. Так, в случае с «Это сделал он» («Он ее ударил») можно заявить:

1. «Случайно» (она попала под руку, когда он забивал гвоздь).
2. «Неосторожно» (забивая гвоздь, он отвлекся).
3. «Приняв за кого-то другого» (он думал, что она – это ударившая его Мэй).

4. «В целях самообороны» (она собиралась ударить его молотком).

5. «Спровоцирован» (она только что пролила на него чернила).

6. «Но его вынудил хулиган» (Джонс сказал, что ударит его).

7. «Но он – психически нездоровый, больной человек».

В-третьих, можно, конечно, встать на героический путь и сказать, что все эти возражения являются как раз таки многочисленными признаками отсутствия в каждом случае общего психологического элемента («умысел», «добровольность», «сознательность»), требуемого при «полном» определении действия как одно из его необходимых и достаточных условий, и что это понятие, в конечном счете, есть обычное дескриптивное понятие. Но на это можно привести множество контраргументов. Позитивно выглядящие слова, вроде «умысел» и т.д., предложенные в качестве необходимого условия всякого действия, достигнут цели в качестве таковых, только если они фактически окажутся исчерпывающим и позитивно звучащим указанием на отсутствие одного или более возражений, и, таким образом, они будут понятны только тогда, когда интерпретируются в свете возражений, а не *vice versa*. Опять-таки, когда мы приписываем действие человеку, вопрос, имело ли место психологическое «событие», вообще не подходит к этой предлагаемой позитивной форме, но подходит к форме исследования того, охватывается ли данный случай каким-то из этих смягчающих возражений. Далее, когда задано более определенное описание этого сомнительного общего ментального элемента, он обычно оказывается чем-то совершенно особенным и характерным только для специального вида действия, а ни в коем случае не существенным элементом всех действий. Это совершенно верно для «нашей установки» профессора Г.А. Причарда,¹ которая хорошо описывает некоторые удручающие явления нашей жизни, но, конечно, не является существенным компонентом всех случаев, где мы признаём наличие действия.

¹ См.: *Duty and Ignorance of Fact*. P. 24 ff. (Недавно переиздано как раздел II его «Moral Obligation» (O.U.P., 1949). – Прим. редактора англ. издания).

В-четвертых, старый психологический критерий не в состоянии объяснить черту, которую мы проводим между тем, что продолжаем называть действием, пусть и случайным, и другими случаями. Если я целюсь в столб и ветер отклоняет мою пулю так, что она попадает в человека, обо мне говорят, что я выстрелил в него случайно, но если я целюсь в столб и попадаю в него, а пуля рикошетит и попадает в человека, то это вообще нельзя назвать моим действием. Однако ни в том, ни в другом случае я не намеревался, не настраивал себя это сделать и не желал того, что случилось.

В-пятых, современная формула, согласно которой сказать, что действие добровольно – значит сказать, что агент мог бы избежать его, если бы поступил как-то иначе, игнорирует разнородный характер наших критериев, уточняющих «Это сделал он», когда мы употребляем слова вроде «случайно», «по ошибке», «по принуждению» и т.д., или просто избегает этого, оставляя значение протазиса «Если бы он поступил иначе» совершенно смутным. Тем не менее наши фактические критерии, уточняющие «Это сделал он», несмотря на их многочисленность и разнородность, могут быть установлены с некоторой степенью точности. Так, если предполагаемая общая формула используется для объяснения нашего отказа говорить «Это сделал он» без уточнения в случае, когда рука человека насильственно движется другим, то неправильно использовать ту же самую формулу в совершенно иных обстоятельствах, вроде несчастного случая, ошибки, угрозы насилием или провокации. Ибо в первом случае высказывание «Агент не мог бы действовать иначе, даже если бы у него был выбор» является истинным в том смысле, что он не контролировал свое тело и его решение было бы или должно было бы быть безрезультатным; тогда как, например, в ситуации несчастного случая смысл, в котором это высказывание является истинным (если оно вообще является истинным), заключается в том, что, даже имея полный контроль над своим телом, агент не предвидел физических последствий своих движений. И, конечно, наше уточнение выражения «Это сделал он» в случаях угрозы насилием или провокации (которые должны приниматься во внимание при анализе употребления глаголов действия) с точки зрения предполагаемой общей формулы может быть понято, только если

протазис по-прежнему употребляется в различных смыслах, так что ее удобная общность, в конечном счете, исчезает без следа, ибо различных смыслов будет столько же, сколько существует различных типов возражений или уточнений «Это сделал он». Некоторые стремятся избежать этого вывода, говоря, что там, где мы уточняем «Это сделал он», например в ситуации несчастного случая, фактически имеется два элемента, один из которых – *подлинное* действие (стрельба из оружия), а другой – его следствия (убитый человек), и что наше обычное словоупотребление, согласно которому мы при этом говорим: «Он попал в него случайно», неточно или расплывчато. Настаивают, что «строго» мы должны говорить: «Он выстрелил» (действие в строгом смысле) и «Пуля попала в человека». Но этот ход мысли, так же как и предположение, что мы можем говорить о независимости «подлинного» действия от нашего фактического употребления глаголов действия, порождает известные, но нежелательные парадоксы. Если ситуацию с несчастным случаем нужно раскладывать на подлинное действие *плюс* непреднамеренные следствия, то и обычное действие в равной степени должно раскладываться на подлинное действие *плюс* преднамеренные последствия. Стрельба из оружия с этой точки зрения должна раскладываться на натяжение спускового механизма *плюс...* а натяжение спускового механизм – на взведение курка пальцем *плюс...* Так что «подлинными действиями» (если таковые имеются) в конечном счете будут только минимальные движения, которые мы можем осуществить с нашим телом, где ничего «не может» пойти неправильно. Эти парадоксы есть результат упорствования в том, что «действие» является дескриптивным понятием, определяемым с помощью множества необходимых и достаточных условий.

В-шестых, приписывая индивидуальные права или обязанности, мы не находимся в положении судьи, решение которого является официальным и окончательным и который должен иметь дело только с фактически представленными ему притязаниями и возражениями. В частной жизни решения не являются окончательными, и человек не освобожден, как часто освобожден судья, от усилий по выяснению того, какие возражения могли бы быть представлены. Следовательно, если в силу просто наблюдаемых

нами физических фактов мы судим: «Смит ее ударил» – и не уточняем наше суждение, оно может быть ошибочным или ущербным в том смысле, в котором ошибочным или ущербным решение судьи быть не может. Ибо если при исследовании фактов окажется, что мы должны были бы сказать: «Смит ударил ее случайно», – наше первое суждение нужно уточнить. Но важно заметить, что его не нужно отвергать как ложное высказывание о фактах или как ложный вывод о том, что произошло какое-то существенное ментальное событие, необходимое для истинности предложения «Это сделал он». В свете отмеченных нами новых обстоятельств наше приписывание ответственности более не оправданно. Поэтому мы должны вновь принимать решение, а не *описывать* снова.

Наконец, исходя из того, что правоведы называют чрезмерной предусмотрительностью, я хочу отметить, что есть два тезиса, которые я не утверждал. Я не утверждал ни одной из форм бихевиоризма, ибо, хотя часто корректным будет сказать «Это сделал он» в силу только наблюдаемых физических движений другого, «Это сделал он», на мой взгляд, всегда не просто описывает эти движения. Во-вторых, я хочу отличить от моих собственных взглядов тезис, который ныне часто утверждается как решение или устранение проблемы свободы воли и согласно которому высказывание о добровольности действия просто *означает*, что моральное порицание нацелено на удержание порицаемого агента от его повторения, а моральное одобрение побуждает агента к его повторению. Мне кажется, это смешивает вопрос о том, что мы подразумеваем, говоря, что человек совершил действие, с вопросом о том, почему нас волнует приписывание людям ответственности за действия таким способом, которым мы это делаем. Очевидно, существует связь между двумя этими вопросами, т.е. между теориями наказания и поощрения и попыткой прояснить критерии, которые мы фактически используем, приписывая ответственность за действия. Несомненно, что мы, между прочим, пришли к применению критериев, которые действительно применяем, в конечном счете не ради несчастного индивидуума на скамье подсудимых, а ради «общества», приписывающего ответственность тем способом, которым мы действительно ее приписываем, и стремящегося пресечь преступления и поощрить добродетель;

и историк общества может показать, что наши критерии медленно изменяются вместе с опытом изменяющих или сдерживающих результатов, полученных при их применении. Но это лишь одно из следствий, которые дает нам применение этих критериев. И это только один из факторов, которые приводят нас к их сохранению или изменению. Привычка, или консерватизм, потребность в определенности и в некоторой системе распределения потерь, возникающих из поведения, представляют собой другие факторы, и хотя, конечно, для нас остается открытой возможность сожалеть о вторжении «неутилитарных» факторов, тем не менее мне кажется жизненно важным отличать вопрос истории, практической ценности и, в некотором смысле, моральности проводимых нами различий от вопроса о том, что эти различия собой представляют.

СКАЗКА ЛОГИКА*

Г.Л.А. Харт

«Жили-были...» Каким образом мы охарактеризуем употребление языка, которое вводит эта известная формула? Когда в детстве нам рассказывали сказки, мы отлично их понимали и, став взрослыми, мы все еще понимаем их, хотя, возможно, и не так хорошо. Но современный логик, несмотря на арсенал имеющихся в его распоряжении средств, в попытке *сказать*, что же рассказчик делает со словами, приходит к парадоксу и абсурду. Я считаю, что за его неудачу ответственно исключительно оснащение современными средствами, потому что они искушают логика, использующего их в неосторожном допущении, что методы логического анализа, принципы логической классификации и символическая запись, которые были столь продуктивными и проясняющими при трактовке математических или других систем необходимой истины, могут благополучно использоваться, *mutatis mutandis*, при разъяснении

* Перевод выполнен по *Hart H.L.A. A Logician's Fairy Tale // The Philosophical Review. – 1951. – Vol. 60, №. 2. – P. 198–212. Пер. с англ. В.В. Оглезнева под ред. В.А. Суровцева.*

не необходимых суждений обычного дискурса. И поскольку в современных¹ руководствах по логике это предположение определяет все представления о данном предмете, стоит исследовать один случай, где, как мне кажется, оно наносит ущерб, тем более, что может быть выведена мораль для других случаев, где очевидно ценное оснащение современной логики, по-видимому, не разъясняет, а искажает.

II

В качестве примера современной трактовки этой темы я возьму рассмотрение общих суждений и четырех Аристотелевских форм А, Е, I и O, представленное Э. Эмброуз и М. Лазеровицем² в их книге «Основные принципы символической логики» (С. 178–190). Это рассмотрение приводит к нынешнему ортодоксальному выводу, что классическая интерпретация суждений типа «Все S суть P», «Ни одно S не суть P», «Некоторые S суть P» и «Некоторые S не суть P», как показано в Квадрате противоположностей, традиционно используемом для демонстрации логических отношений между этими формами, как ошибочна, так и непоследовательна. Альтернативные рекомендации (также ныне ортодоксальные) продиктованы тем что, тогда как формы I и O представляют собой утвердительные экзистенциальные предложения [$(\exists x) \cdot fx \cdot gx$ и $(\exists x) \cdot fx \cdot \sim gx$], которые влекут существование членов класса, обозначаемого их субъектами, формы А и Е следует интерпретировать как отрицательные экзистенциальные предложения, поскольку они, в отличие от I и O, оставляют открытой возможность того, что члены класса, соответствующие субъекту, не существуют. Таким образом, для современной логики $\sim(\exists x) \cdot fx \cdot \sim gx$ (называемая «минимальной интерпретацией») есть единственная утвердительная сила формы А и, соответственно, $\sim(\exists x) \cdot fx \cdot gx$ для формы Е; тогда как, согласно классической интерпретации, формы А и Е имеют «экзистенциальный смысл», и, в соответствии с нашими авторами, их сила, согласно

¹ За суть критики современной доктрины логики я благодарен м-ру П.Ф. Стросону. См. его статью «On Referring», *Mind* (July, 1950), особенно С. 343–344.

² Далее просто «наши авторы».

этой интерпретации, заключается соответственно в $\sim(\exists x) . fx \cdot \sim gx$: $(\exists x) . fx$ и $\sim(\exists x) . fx \cdot gx$: $(\exists x) . fx$ (называемой «экзистенциальной интерпретацией»). Конечно, авторы признают, что в обычном английском словоупотреблении выражения формы «Все S суть P» понимаются экзистенциально, т.е. «таким образом, что предполагают существование членов S». Допуская это, авторы рассматривают подобные обычные английские выражения как фактически свернутые и как утверждающие не просто суждение формы А, но также дополнительное экзистенциальное суждение $(\exists x) . fx$. Они рекомендуют, чтобы то, что является «неявным» в обычной дискурсе, становилось явным при тщательном логическом анализе, перефразируя эти обычные, но свернутые английские выражения посредством конъюнктивной формы

$$\sim(\exists x) . fx \cdot \sim gx : (\exists x) . fx.$$

На этой известной основе относительно классического анализа выдвигаются три критических замечания:

Во-первых, не существует единственной интерпретации форм А и Е, для которых имеют силу все отношения, отображенные в классическом Квадрате противоположностей. Ибо, согласно современной доктрине форма А *может* быть истолкована только либо как (1) $\sim(\exists x) . fx \cdot \sim gx$ (минимальная интерпретация), либо как (2) $\sim(\exists x) . fx \cdot \sim gx : (\exists x) . fx$ (экзистенциальная интерпретация). Если выбирается минимальная интерпретация, тогда все отношения, представленные сторонами Квадрата, оказываются неверными, остаются только отношения противоречия между А и О и Е и I соответственно, представленные диагоналями. Если же выбирается экзистенциальная интерпретация, то ошибочным оказывается представленное диагоналями отношение противоречия, поскольку, согласно этой интерпретации, А и О и Е и I соответственно являются контрарными суждениями, так как оба из каждой пары будут ложными, если $\sim(\exists x) . fx$ является истинным; неверным также будет и отношение субконтрарности между I и О.

Во-вторых, поскольку, согласно классическому взгляду «Все S суть P» интерпретируется экзистенциально, что с точки зрения авторов подразумевает «высказывание»¹ $\sim(\exists x) . fx \cdot \sim gx : (\exists x) . fx$,

¹ Курсив автора – Прим. пер.

то, в соответствии с этой интерпретацией, невозможно выразить важный класс общих суждений, вроде «Все залежи урана в Огайо не легко добывать», «У всех греческих богов есть человеческие слабости» и других, приводимых авторами в качестве примеров. Ибо, согласно нашим авторам «все эти суждения должны считаться истинными», однако они не были бы истинными, если бы интерпретировались как утверждение того, что в Огайо есть залежи урана или существуют греческие боги, как с точки зрения авторов их интерпретировал бы классический анализ. Так, если мы принимаем классическую интерпретацию, этот важный класс общих суждений нужно было бы трактовать как исключения; тогда как, если мы принимаем минимально рекомендуемую интерпретацию, эти суждения можно представить с помощью нее и экзистенциально понятых суждений обычного дискурса, представленного конъюнкцией минимальной интерпретации вместе с дополнительной формой $(\exists x) . fx$.

В-третьих, классическая интерпретация приводит к высшей степени абсурдному выводу, что можно логически продемонстрировать существование по крайней мере одной вещи любого вида вообще. Ибо, если задано какое-то множество из четырех суждений форм А, Е, I и О вроде следующих (приводятся авторами):

*Все людоеды являются злыми,
Ни один людоед не является злым,
Некоторые людоеды являются злыми,
Некоторые людоеды не являются злыми,*

то, согласно классической интерпретации, отсюда следует, что людоеды существуют и «не только людоеды, но с логической необходимостью должно было бы существовать нечто любого другого заслуживающего упоминания вида» (С. 187). И авторы отмечают, что «теологи и метафизики», стремящиеся построить доказательство существования Бога, странным образом проглядели, что Квадрат противоположностей, «который они все или почти все признавали» (С. 187), обеспечивал их всем тем, в чем они нуждались для доказательства существования Абсолютного Совершенного Существа.

Новшеством в последнем из предъявленных обвинений является использование авторами обобщения из сказки для сведения аристотелевской интерпретации к явной нелепости и выявления очищающей силы современного анализа. Пожалуй, столь же новым является любопытное смешение апелляций к современному английскому словоупотреблению («дополнительное оправдание современного анализа заключается в том факте, что классическая интерпретация приводит к разрушению сложившихся в английском словоупотреблении отношений между А и О и Е и I» [С. 185]) с принятием вывода современного анализа, описываемого как «парадоксальный на первый взгляд» (С. 190), а именно, что А и Е не являются контрарными суждениями, но могут быть одновременно истинными, как в сказочном примере авторов: «Все гномы бородаты» и «Ни один гном не бородат», которые, учитывая то обстоятельство, что никаких гномов нет, должны «считаться» истинными. Новшество это или же нет, но подход, вытекающий из защищаемого нашими авторами анализа общих суждений в сказке, субъектом которых является людоед, гном или какое-то другое вымышленное существо, является весьма любопытным; фактически ничуть не менее любопытным, чем старое дорасселовское понятие о том, что поскольку суждения вымысла имеют значение, должен существовать субсистентный, но не существующий «универсум рассуждения», который эти суждения в случае своей истинности описывают правильно, а в случае своей ложности – неправильно. Поэтому, согласно анализу наших авторов, все общие суждения из сказки (вроде «Все людоеды являются злыми», «Ни один людоед не является злым») – истинны, хотя и «бессодержательно» истинны, а все частные суждения (вроде «Некоторые людоеды являются злыми», «Некоторые людоеды не являются злыми») – ложны. На первый взгляд это действительно «парадоксально» и дух парадокса не рассеивается вторым взглядом. Конечно, увериться, что существуют людоеды, говорить так, *как если бы* людоеды существовали, и говорить о них, что все они злые, на самом деле совершенно иное, нежели утверждать «бессодержательную» истину, что ничто не является людоедом, не являясь при этом злым. Ибо, истина, приписанная согласно данному анализу суждению «Все людоеды являются злыми», хотя и называется бес-

содержательной, не является истиной в некотором специальном безобидном смысле («истина вымысла»), подразумевающим только то, что суждение образует часть истории или мифа, в котором «Никакие людоеды не являются злыми» было бы ложно. Но оба этих обобщения из сказки являются истинными в том же самом фактуальном смысле, в котором истинным является суждение «Людоеды не существуют», и по этой же причине они правильно описывают мир. Возможно, вместо этого большинство людей, скорее, предпочло бы принять на веру то, что с точки зрения наших авторов является следствием классической экзистенциальной интерпретации, что все содержащие обобщения суждения из сказки, как общие, так и частные, описывающие ее вымышленных существ, являются ложными. Но если вымысел и бессодержательная истина кажутся различными вещами, то таковыми же являются вымысел и ложь. Можем ли мы противостоять отождествлению вымысла с тем и с другим?

III

То, что мы можем и действительно должны противостоять такому отождествлению, явствует из проверки аргумента, использованного для обвинения Аристотеля в том, что Квадрат противоположностей обеспечивает доказательство «существования по крайней мере одной вещи любого вида вообще». Этот аргумент включает два шага, каждый из которых основывается, я думаю, на недопонимании важных особенностей эмпирического дискурса и заключается в следующем:

(I) «Если задать какое-то множество из четырех суждений, отвечающих формам А, Е, I, О, очевидно, что по крайней мере одно из них должно быть истинным» (С. 186) и «основное предположение заключается в том, что одно из двух частных суждений I и О должно быть истинным» (С. 187).

(II) «Как I, так и О (где суждения А, Е, I, О рассматриваются в виде «Все людоеды являются злыми» и т.д.) влекут, что людоеды существуют» (С. 187).

Из этого авторы делают следующий вывод:

(III) «Следовательно, при условии, что одно из этих четырех суждений о людоедах должно быть истинным и что каждое из

них влечет, что людоеды должны существовать, тогда нет никаких мыслимых обстоятельств, при которых «Людоеды существуют» будет ложным. Это означает, что «Людоеды существуют» является необходимо истинным...» (С. 187).

Конечно, наиболее глубоко вводит в заблуждение первое из этих утверждений. По-видимому, нет никаких причин верить, что кто-то из признающих традиционный Квадрат противоположностей «теологов или метафизиков» это утверждение принимал. Ибо Квадрат связан просто с демонстрацией логических взаимоотношений этих четырех форм суждений, т.е. с демонстрацией того, каким образом истинностное значение суждений одной формы предопределена истинностным значением суждений других форм, а его стороны и диагонали представляют высказывания о следовании или высказывания о логической необходимости или логической невозможности. Так, сторона для подчинения, связывающая А и I, демонстрирует, что «“А” влечет “I”» или «“А \supset I” логически необходимо», а сторона для субконтрарности суждений I и O демонстрирует, что «“~I” влечет “O”», а «“~O” влечет “I”», или что «“~I . ~O” логически невозможно» или, как наши авторы ясно выразили сами, «“I \vee O” – это дизъюнкция, имеющая силу с необходимостью». Но совершенно ясно, что единственная информация, которую такие высказывания о следовании, логической необходимости или логической невозможности могут придать истинности или ложности значений любой из форм А, Е, I и O, должна быть гипотетической. Они говорят нам только то, что *если* O ложно, то I должно быть истинно, что *если* А истинно, то I должно быть истинно, и т.д. Конечно, мы могли бы сказать, например, о противоречии форм А и O и противоречии форм Е и I, что «одна из них должна быть истинной», но это было бы неточным сокращением выражения: «Если одна из этих форм истинна, то другая должна быть ложной, а если одна из этих форм ложна, то другая должна быть истинной». Соответственно, вместо (I) наши авторы имеют право утверждать только:

(IA) «Для любого множества суждений формы А, Е, I, O ясно, что *если* одна или более из этих форм ложны, то, по крайней мере, одна из них должна быть истинной», и «основное предположение заключается в том, что *если* одно из двух

частных суждений I или O является ложным, то другое должно быть истинным».

Если сделано это простое и жизненно важное исправление (I) в (IA), то заключение (III) наших авторов не выводимо, и Аристотель не повинен в обеспечении доказательства «существования не только людоедов, но и всего, что заслуживает упоминания», а «теологи и метафизики» не повинны в том, что не отвергли это доказательство.

Но, разумеется, в исправлении можно было бы усомниться на том основании, что для поддержки предъявленного нашими авторами Аристотелю обвинения, мы должны просто к (I) и (II) добавить принцип, что «каждое осмысленное суждение является либо истинным, либо ложным», и этот принцип не был сформулирован только потому, что он слишком очевиден, чтобы формулировать его даже в элементарном руководстве по логике. Но я полагаю, что здесь имеет место серьезное недопонимание природы – обычного дискурса, ибо в том смысле, который требуется авторам аргумента, этот принцип не только не очевиден, но и ложен. Конечно, мы могли бы признать, что если эмпирическое описательное предложение имеет значение, должна быть возможность (пусть неясная или несовершенная) описать обстоятельства, при которых, если используется данное предложение, выраженное при этом суждение является истинным, а не ложным, и другие обстоятельства, при которых оно является ложным, а не истинным. И, несомненно, суждение «Некоторые людоеды являются злыми» имеет для нас значение как раз потому, что мы можем определить такие обстоятельства, но это нисколько не означает, что в *каждом случае* (включая сказочный сюжет), когда используются предложения «Все людоеды являются злыми», «Некоторые людоеды являются злыми», выражается суждение, которое должно квалифицироваться либо как истинное, либо как ложное. Однако именно это должны утверждать наши авторы, если должно быть успешным их обвинение Аристотеля. Ибо только в том случае, если при *каждом случае* осмысленного употребления предложений формы A, E, I, O выраженное тем самым суждение должно быть истинным или ложным, из описания логических отношений между этими формами, заданное Квадратом, следует, что одно из этих суждений должно быть истинным. Только если

дело обстоит так, Аристотель в придачу доказал существование «не только людоедов, но и всего, что заслуживает упоминания».

Приводя эти критические аргументы, я не борюсь за третье истинностное значение, «многозначную» логику, или введение какого-либо усложненного формального принципа. Напротив, я защищаю особенность обычной речи от предубеждения формального логика, которое ослепило наших авторов точно также, как в случае различия между (I) и (IA), или, по крайней мере, заставило их ее игнорировать. Предубеждение заключается в том, что все описательные предложения разделяют по крайней мере ту характеристику, что, чтобы они не выражали, последнее результируется в суждении, которое должно быть истинным или ложным (истинным или ложным фактуально, а не «истинным или ложным в воображении») и должно к чему-то применяться, хотя и не с необходимостью к сущностям, обозначаемым их грамматическим субъектами, ибо эти сущности могут не существовать. Несомненно, что подобная близкая идентификация понятия значения с понятием быть истинным или ложным является фундаментальным принципом «экстенциональной» логики, который является результатом переноса на эмпирический дискурс принципов, в некоторой степени свойственных логическому анализу математики, но это приводит к уничтожению (а в некоторых контекстах к злоупотреблению) жизненных черт употребления, которое мы придаем словам. Принимать всерьез фактуально истинные или ложные суждения – это, несомненно, наиболее важное употребление осмысленных описательных предложений, но оно не является единственным. Ибо мы можем сказать и часто говорим, когда предложение используется в нашем присутствии, что вопрос о его истинности или ложности *в данном случае* не возникает, хотя, конечно, мы можем его понять и, следовательно, осознать его логическое отношение к другим суждениям. Одна из таких ситуаций – это случай, когда нам рассказывают сказку. Мы знаем, что людоедов не существуют, но рассказчик для нашего развлечения применяет особое употребление слов, которое мы можем назвать разговором, *как если бы* они были, разговором о вещах, которые, если бы людоеды существовали, могли бы быть истинными или ложными, но поскольку людоеды не существуют, не являются ни истинными, ни ложными. Контекст этого

случая, вербального, фактуального (людоедов нет) и наигранного, проясняет, что было бы абсурдно всерьез настаивать на вопросе: «Верно ли (не только в качестве сказочной истории), что все людоеды являются злыми?» Действительно, поскольку мы не находимся в ситуации, когда каждое понимаемое нами суждение должно быть либо истинным, либо ложным, тогда, если бы мы всерьез настаивали на этом вопросе, это было бы признаком того, что мы не поняли, как говорящий употребляет это предложение. Важный вариант ситуации этого типа, когда «истинное» или «ложное» неуместны, признанный юристами наравне с логиками, заключается в ошибке «Множественность вопросов». Если у Смита нет жены, мы отказываемся говорить, что «Смит перестал бить свою жену» является истинным или ложным. Конечно, это предложение имеет значение, которое мы понимаем. Мы могли бы описать обстоятельства, при которых оно было бы истинным или ложным, и мы могли бы сказать, что оно влечет или что им вызвано. Вся «ошибочность» там, где встречается ошибка «множественности вопросов» заключается в том, что в отдельных случаях его употребления мы не можем охарактеризовать его как истинное или ложное, потому что это возможно только тогда, когда на предыдущие вопросы: «Была ли у него жена, и бил ли он ее?», были даны утвердительные ответы. Если говорящий настаивает, чтобы на вопрос «Истинно оно или ложно?» был дан ответ, мы говорим: «Вопрос так не стоит, вы, должно быть, находитесь под ошибочным впечатлением, что у Смита есть жена». Ничего, кроме предубеждения логика, что в каждом случае употребление осмысленного предложения должно быть истинным или ложным, не лишает нас права на создание этого естественно-го комментария; только это предубеждение заставляет нас «перевести» это предложение в экзистенциальное суждение для того, чтобы иметь сомнительное удовольствие назвать его ложным. И то же самое предубеждение заставляет нас «перевести» «Все людоеды являются злыми» в отрицательное экзистенциальное суждение $\sim(\exists x) . fx \cdot \sim gx$ для того, чтобы иметь еще более сомнительное удовольствие назвать его (бессодержательно) истинным. Чтобы явно избежать эти парадоксы, необходимо строго отличать вопрос, касающийся значения или осмысленного характера предложения, а именно, при каких обстоятельствах оно является ис-

тинным или ложным, от вопроса, является ли в каком-то особом случае употребления высказанное суждение истинным или ложным или же, как в случае с вымыслом, его нельзя всерьез охарактеризовать как истинное или ложное.

IV

Предыдущего достаточно, чтобы освободить Аристотеля от третьего обвинения наших авторов. Но важно видеть, что первое обвинение в непоследовательности Квадрата по сходным причинам также необоснованно, не потому, что оно содержит много такого, в чем не повинен Аристотель, но потому, что это обвинение покоится на неправильном понимании точного характера «экзистенциального смысла» форм А, Е, I и O, который нам нужно понять, если мы должны адекватно охарактеризовать их использование в вымысле.

Рассмотрим утверждение наших авторов:

(II) «Как I, так и O подразумевают, что людоеды существуют»

Здесь «подразумевают», как объясняют наши авторы, имеет смысл «влекут». Но является ли (II) истинным? Конечно, современная транскрипция I и O, как $(\exists x) \cdot fx \cdot gx$ и $(\exists x) \cdot fx \cdot \sim gx$ *предполагает*, что это утверждение верно; и сообразно этому, наши авторы, защищая данную транскрипцию, пишут (С. 178), «“Некоторые водители такси начитаны” *говорит*¹, что некоторые индивиды являются водителями такси и начитаны» и добавляют замечание, что «Некоторые водители такси начитаны» было бы ложно, если бы ни один индивид не был водителем такси или не был начитанным. Но если правильность современной транскрипции форм I и O еще не принята, по-видимому, нет причины говорить, что суждение, сделанное при подобных обстоятельствах, ложно. Ибо, опять-таки, подходящий комментарий в данных обстоятельствах заключается в том, что это суждение не должно характеризоваться как истинное или ложное, так же как «Смит перестал бить свою жену» не является истинным или ложным, если у Смита нет жены или он никогда ее не бил. Так и в сказках. Конечно, рассказчик, который говорит: «Некоторые людоеды является

¹ Курсив автора. – Прим. пер.

злыми», говорит в этом случае так, как *если бы* людоеды существовали; возможно, он притворяется, что верит в существование людоедов, или может быть даже действительно верит, что они есть. Но какой бы из этих вариантов (если вообще какой-то) не был бы в этом случае правильным описанием употребления предложения «Некоторые людоеды являются злыми», тот факт, что людоедов не существует, не приводит к тому, что то, что он говорит, является ложным. И если это так, то «Некоторые людоеды являются злыми» не влечет, что людоеды существуют. Кроме того, то же самое имеет силу для отношения между «Людоеды не существуют» и формами А и Е: «Все людоеды являются злыми» и «Ни один людоед не является злым». Эти формы не влекут, что «Людоеды существуют», и их не делает ложным суждение «Людоеды не существуют», как это было бы при их экзистенциальной интерпретации $\sim(\exists x) \cdot fx \cdot \sim gx : (\exists x) \cdot fx$; это суждение не делает их и истинными, как это было бы при минимальной интерпретации $\sim(\exists x) \cdot fx \cdot \sim gx$.

Тем не менее между формами А, Е, I и O, как они используются в обычном, нематематическом и ненаучном дискурсе, и предложениями, утверждающими существование членов класса, обозначаемого их субъектом, есть близкая связь, хотя она и не является следованием. Они имеют «экзистенциальный смысл», но это не смысл экзистенциальной интерпретации форм А и Е или современной транскрипции форм I и O.

Этот смысл заключается в следующих особенностях их употребления:

(1) Экзистенциальная интерпретация $\sim(\exists x) \cdot fx \cdot \sim gx : (\exists x) \cdot fx$ искажает силу «Все S суть P», поскольку то, что может фальсифицировать первое, а именно, $\sim(\exists x) \cdot fx$ не фальсифицирует последнее. С другой стороны, предложение этой экзистенциальной формы *действительно* следует, хотя его не влечет предложение формы А; ибо, если «Водители такси существуют и нет водителей такси, не являющихся начитанными» является истинным, отсюда следует, что истинным является «Все водители такси начитаны». Соответственно, истинность экзистенциального предложения является достаточным условием истинности предложения формы А. Кроме того, оно также является необходимым

условием, но не в том же самом смысле, в котором истинность предложения Q является необходимым условием истинности – другого предложения P , которое влечет Q . Ибо, если « P » влечет « Q », тогда если Q ложно, ложно и P ; но хотя истинность экзистенциального предложения есть необходимое условие истинности предложения формы A («Все людоеды являются злыми» не могло быть истинным, если бы истинным не было «Людоеды существуют и нет ни одного людоеда, который не является злым»), ложность экзистенциального предложения не обязательно приводит к ложности предложения формы A , но, как и в данном случае, при других обстоятельствах можно показать, что суждение не является ни истинным, ни ложным, но, например, вымышленным.

(2) Поскольку истинность экзистенциального предложения есть как необходимое, так и достаточное условие истинности предложения формы A , любой, кто в обычном дискурсе утверждает такое предложение, как, например, «Все таксисты начитаны» и, как кажется, делает это со всей серьезностью, будет, собственно, рассматриваться как убежденный в том, что соответствующее экзистенциальное предложение является истинным. Ибо в противном случае у него не могло бы быть никаких причин для его утверждения, и предположение, что люди не употребляют описательные предложения без достаточного основания полагать, что они являются истинными (и это основание, разумеется, влияет на весь характер эмпирического дискурса), создает здесь неформальную связь между экзистенциальным суждением и формой A . Если нам нужно слово, мы можем сказать, что форма A при отсутствии особого указателя «предполагает» или «настоятельно предлагает» истинность экзистенциальной формы. Но эти психологические термины плохо передают конвенциональный характер этой связи.

(3) Сказанное выше показывает связь между всем сложным экзистенциальным предложением $\sim(\exists x) \cdot fx \cdot \sim gx : (\exists x) \cdot fx$ и формой A . Но истинность предложения $(\exists x) \cdot fx$, утверждающего просто существование членов класса, соответствующего субъекту, хотя и не влечет форму A , является необходимым условием ее истинности в особом, объясненном выше смысле. Ибо обычное

употребление форм А, Е, I, О за рамками науки и математики заключается в наличие контекста, где (1) члены класса, соответствующего их субъекту существуют, и (2) говорящий в это верит. Это экзистенциальное условие образует столь значительную часть конвенционального контекста при употреблении данных форм, что если бы говорящий после, например, высказывания «Все дети Смита – девочки» добавил бы «Но у него нет ни одной», то это добавление, хотя и не противоречащее (каким оно было бы при экзистенциальной интерпретации) и, конечно, не подтверждающее (как при минимальной интерпретации), отменяло бы первоначальное замечание, не как нечто такое, во что говорящий не имел причины верить, но как применяющееся к тому, чего нет, к тому, что не квалифицируется как истинное или ложное, и, поскольку оно не является частью рассказа, бессмысленное. Но в том, что это экзистенциальное условие, конвенционально затребованное для обычного употребления данных форм, выполнено, нет ничего такого, что эти формы устанавливали бы или влекли, ибо они могут использоваться без противоречия или утраты значения там, где оно не выполнено, как в вымысле. С другой стороны, для широкого диапазона эмпирических предложений логическая сила «Все» и «Некоторые» как части субъекта определяется этим соглашением, хотя его воздействие нельзя сообщить в записи кванторов и пропозициональных функций, поскольку это не удастся либо в результате явного установления того, что экзистенциальное условие выполнено, либо в результате его полного игнорирования.

(4) Использование форм А, Е, I и О в вымысле играет на этих чертах их обычного употребления. Использование рассказчиком предложений фактически не выполняет конвенциональное требование обычного употребления, но он говорит так, как *если бы* они его выполняли, и, таким образом, добивается своих результатов. Возможно, ничто более ясно не показывает связь между предложениями этих форм и экзистенциальными суждениями, о которых ошибочно говорят, что они следуют из этих форм или из части их значения, чем проверка того, каким образом «Людоедов не существует» могло бы относиться к «Некоторые людоеды являются злыми». Мы могли бы успокоить плачущего ребенка, который услышал, как рассказчик говорит: «Некоторые людоеды являются

ся злыми», сказав, что «Людоеды не существуют», или мы могли предостерегающе сказать это рассказчику. В любом случае, мы высказываем нечто более радикальное, нежели «Это ложно», но менее радикальное, нежели «Это не имеет смысла»; мы говорим: «Это ни к чему не применимо». Мы могли бы сказать то, что противоречит «Некоторые людоеды являются злыми», говоря «Это ложно, ни один людоед не является злым», но противоречие слабее, нежели то, что мы получаем посредством «Людоеды не существуют», ибо противоречие оставляет ребенка перед лицом людоедов, обладающих свойствами, иными, нежели злоба. «Людоеды не существуют» глубже укоренено в страхе; это указывает на то, что экзистенциальные условия серьезного суждения, которое можно квалифицировать как истинное или ложное, в этом случае не выполняются и, поэтому, «Некоторые людоеды являются злыми» не является ни истинным, ни ложным. Конечно, рассказчик сам может сказать после окончания истории: «Но людоеды не существуют», не противореча самому себе, чтобы как раз показать, что он рассказывал историю, хотя, если бы он сказал это во время ее изложения, это разрушило бы его цель как рассказчика. Короче, «Людоеды не существуют» показывает, что требуемый конвенционально контекст не имеет силы для серьезного употребления этих форм; и демонстрация этого есть важная часть свидетельства того, что говорящий просто рассказывал историю. Конечно, несмотря на важность, это только свидетельство, а не доказательство, потому что возможны альтернативные объяснения, зависящие от намерения или состояния сознания говорящего: возможно, он преднамеренно пытается ввести нас в заблуждение или в состояние полного недоразумения. Кроме того, если бы говорящий отклонился от линии повествования, то, что он сказал, все еще оставалось бы вымыслом, даже если бы людоеды действительно существовали.

Эти особенности обычного использования форм А, Е, I и О за рамками науки и математики образуют «экзистенциальный смысл» и показывают, что тогда как ни минимальная, ни экзистенциальная интерпретация не передают их значения или специальной функции, эти две альтернативы не исчерпывают, как часто предполагается, когда Квадрат противоположностей подвергается критике как непоследовательный, возможности интерпрета-

ции. Предполагаемые несогласованности в Квадрате реализуются только в том случае, если, принимая эти две интерпретации за исчерпывающие, мы ошибочно делаем вывод, что формы А, Е, I и О являются экзистенциальными предложениями, к истинности или ложности которых непосредственно относится существование членов класса, соответствующего субъекту. На самом деле, они не образуют экзистенциальных суждений (хотя они близко связаны с такими суждениями), и существование или несуществование членов класса, соответствующего субъекту, определяет не истинность или ложность суждений этих форм, но только первичность вопроса, может ли возникнуть вопрос об их истинности или ложности. И поскольку это так, нет ничего такого, что заставляло бы сомневаться в правильности всех отношений, представленных Квадратом. Ибо, при рассмотрении этих отношений – например, находятся ли формы А и О в отношении противоречия, и находятся ли А и I в отношении подчинения (два отношения, которые, с точки зрения наших авторов, не имеют силу ни при какой из двух интерпретаций этих форм) – мы лишь должны задать гипотетический вопрос: *если бы А было истинным, было бы О ложным, а I – истинным?* И ответ на этот вопрос (а этот ответ – «Да») не затрагивается тем фактом, что в некоторых случаях употребления (например, в случае, когда не существуют членов класса, соответствующего их субъекту) суждения этих форм не квалифицируются как истинные или ложные. Вопросы о существовании находятся вне рамок Квадрата и те, кто конструировал его в этом направлении, правильно интерпретировал обычное употребление этих форм. Разумеется, Квадрат ничего не говорит нам о различии между действительно истинными и ложными суждениями и вымыслом; но он отображает такие логические отношения между предложениями, которые имеют силу независимо от того, является ли в каких-то случаях употребление, приданное этим формам, действительно суждением и, поэтому, истинным или ложным, или же вымыслом и, поэтому, ни истинным, ни ложным.

То, что я сказал, открыто для неправильного понимания, которое я могу лучше всего предотвратить, рассмотрев оставшееся обвинение наших авторов, а именно, что классическая экзистенциальная интерпретация не в состоянии выразить, а современная

минимальная интерпретация действительно выражает то, что все универсальные суждения важного класса (четыре из которых они приводят) «считаются истинными» (С. 180).

(1) Ни одно из залежей урана в Огайо не легко добывать.

(2) Все человеческие существа, свободные от бактерий, свободны от инфекции.

(3) Все тела, свободные от воздействия сил, находятся в состоянии покоя или прямолинейного равномерного движения.

(4) У всех греческих богов есть человеческие слабости.

Авторы не проводят различия между этими четырьмя суждениями; с их точки зрения, все они являются отрицательными экзистенциальными суждениями; они так и «переводят» первые два; и все они являются истинными (разумеется, вместе с их кажущимися противоположностями «Все залежи урана...», «Ни одно человеческое существо...» и т.д.) в одном и том же фактуальном, хотя и бессодержательном смысле истинности, поскольку они корректно описывают мир, в котором нет никаких залежей урана в Огайо, человеческих существ, свободных от бактерий, тел, свободных от воздействия сил, и греческих богов. Однако ясно, что проводить различие между этими четырьмя суждениями необходимо. На вопрос, является ли (1) истинным, при том, что в Огайо залежей урана нет, только те, кто придерживается логического предубеждения, ответили бы, что оно истинно, а не то, что оно ни истинно, и ни ложно; по крайней мере, это очевидный случай, где мы сказали бы, что вопрос об истинности не возникает, и исправили бы ошибочное предположение, которое привело к данному замечанию. (4) – это иной случай, ибо, если под «истинное» мы подразумеваем, что суждение является частью греческой мифологии или религиозных верований древних греков, то в этом смысле оно – истинно, и истинно бессодержательно, и суждение «Ни у одного греческого бога нет человеческих слабостей» в соответствующем смысле ложно, а не бессодержательно истинно (как это было бы в интерпретации наших авторов). Но мы точно так же могли бы сказать, что, поскольку греческие боги не существуют, серьезный вопрос об истинности или ложности этого суждения не возникает. (2) и (3) – опять-таки иной случай; они представляют собой суждения науки, которые вполне можно было бы назвать истинными; мы, определенно, не

сказали бы, что вопрос об их истинности или ложности не возникает. Но, разумеется, чтобы увидеть, что происходит, когда (3) называют «истинным», мы должны исследовать роль этого суждения в физической теории, частью которой оно является, и способ, которым теория соотносится с фактами. Это сложный вопрос, и он включает дискуссии о смысле, в котором контрфактические условные высказывания могут быть названы истинными или ложными. Но ясно, что истинность (2) и (3) не бессодержательна; они не являются истинными, поскольку описывают мир как не содержащий людей без бактерий и при этом не свободных от инфекций, как мир, не содержащий тел, одновременно свободных от воздействия и при этом не сохраняющих свое состояние движение или покоя т.д. Это просто не их роль, а если бы это была их роль, то мы должны были бы сказать, несмотря на свидетельство науки, что их кажущиеся противоположности также истинны. А это кажется более, чем «парадоксальным на первый взгляд». Но хотя наши авторы не предоставили нам примеров суждений формы «Все S суть P», которые мы назвали бы истинными просто потому, что не существует никаких S, совершенно ясно, что не во всех случаях, когда никаких S не существует, мы должны говорить, что вопрос об истинности или ложности не возникает. Мы сказали бы это там, где использующий обычный дискурс находится под ошибочным впечатлением, что есть какие-то S, и эти S могли бы существовать (залежи урана в Огайо, дети Смита), но фактически не существуют; мы не сказали бы это там, где S обозначает теоретическое понятие физики, и основанием для его утверждения является его роль в качестве закона теоретической системы, а не его успешность в описании мира, хотя теория в целом может верифицироваться различными сложными способами наблюдения. Такие общие суждения как закон, не являясь логически необходимыми, в некоторых отношениях сходны с необходимыми суждениями в том, что они сами по себе не верифицируемы и не фальсифицируемы посредством простого обращения к фактам, как верифицируемы и фальсифицируемы общие суждения о фактах вроде «Все дети Смита девочки». Следовательно, несуществование каких-то S в случаях вроде (3) не является основанием для того, чтобы назвать (3) истинным, но оно

также не является основанием говорить, что это суждение не истинно, и не ложно.

V

Соответственно, чтобы охарактеризовать сказку и другие несомненно важные употребления слов, мы должны сделать несколько вещей, которые формальный логик делать не привык. Во-первых, мы должны признать, что, хотя предложение имеет значение, которое мы понимаем, а высказанные при употреблении предложения суждения имеют логические отношения к другим суждениям, из этого не следует, что в каждом случае осмысленного употребления предложения высказывается суждение, которое должно быть истинным или ложным, ибо вымысел не является ни истинным, ни ложным. Во-вторых, как результат очевидного факта, что определенные типы эмпирического предложения вроде форм А, Е, I и О прежде всего предназначены для употребления (и поэтому являются истинными и ложными) там, где объекты, упоминаемые их субъектом, существуют, мы должны признать, что существует конвенциональная связь между этими предложениями и экзистенциальными предложениями, посредством которых мы утверждаем, что выполнено условие обычного употребления. Эта конвенциональная связь не является следованием; и один из главных приемов вымысла заключается в намеренном нарушении этой конвенции. В-третьих, мы должны сместить наше логическое внимание с общего на частное и сконцентрироваться не на значении, не на условиях истинности, не на логических отношениях суждений, а на обстоятельствах частного употребления и на том, что может быть названо *способом утверждения* предложения в частном случае. То есть мы должны исследовать: (1) выполняется ли экзистенциальное условие, требуемое для обычного употребления предложения, и (2) почему говорящий говорит так, как если бы это условие было выполнено. Ибо отличие вымысла заключается не в общем вопросе, упомянутом первым, но в употреблении (в смысле вычисленного злоупотребления) общей формы в частном случае.

БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ Г.Л.А. ХАРТА

1948

- Редактор издания *Joseph H.W.B. Knowledge and the Good in Pluto's Republic* (London: Oxford University Press, 1948), vii, 75 p., и автор *Editor's Preface*, p. v.

1949

- The Ascription of Responsibility and Rights // Proceedings of the Aristotelian Society. 1949. Vol. 49. pp. 171–194. Переиздана в *Logic and Language*, First Series под редакцией Anthony Flew (Oxford: Blackwell, 1951), pp. 145–166, и частично в *Freedom and Responsibility*, под редакцией Herbert Morris (Stanford: Stanford University Press, 1961), pp. 143–148. Доклад на заседании Aristotelian Society, London 23 мая 1949 года. См. русский перевод: Харт Г.Л.А. Приписывание ответственности и прав / Пер. с англ. В.В. Оглезнева С. 159–184.
- Is there Knowledge by Acquaintance? // The Aristotelian Society. 1949. Vol. 23. P. 69–90. Доклад на совместном заседании Aristotelian Society и Mind Association в University College of North Wales, Bangor 9 июля 1949 года.

1951

- Рецензия на книгу *Jerome Frank, Law and the Modern Mind* (6-ое издание, 1949) // *Mind*. 1951. Vol. 60. P. 268–270.
- A Logician's Fairy Tale // *The Philosophical Review*. 1951. Vol. 60, № 2. 198–212. См. русский перевод: Харт Г.Л.А. Сказка логика / Пер. с англ. В.В. Оглезнева. С. 184–202.

1952

- Signs and Words // *The Philosophical Quarterly*. 1952. Vol. 2. P. 59–62. Рецензия на статью *John Holloway, Language and Intelligence* (1951).

1953

- Definition and Theory in Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1953), 28 pp. Переиздана в *Law Quarterly Review*. 1954. Vol. 70. pp. 37–60 и в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1983). Инаугурационная лекция прочитана в University of Oxford 30 мая 1953 года. См. русский перевод: Харт Г.Л.А. Определение и теория в юриспруденции (пер. с англ. С.Н. Касаткина) // *Известия высших учебных заведений. Правоведение*. 2008. № 5(280). С. 6–32.
- Philosophy of Law and Jurisprudence in Britain (1945–1952) // *American Journal of Comparative Law*. 1953. Vol. 2. P. 355–364.
- Justice // *Philosophy*. 1953. Vol. 28. P. 348–352. Рецензия на статью *Giorgio del Vecchio, Justice* (1952).

1954

- Редактор издания: *John Austin, The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence* (London: Weidenfeld & Nicholson, 1954), xxxi, 396 pp., и автор *Introduction* и *Bibliographical Note*, pp. 7–21.
- Рецензия на книгу *Wolfgang Friedmann, Law and Social Change in Contemporary Britain* (1951) // *Law Quarterly Review*. 1954. Vol. 70. P. 115–119.

1955

- Are There Any Natural Rights? // *The Philosophical Review*. 1955. Vol. 64. pp. 175–191. Переиздана в *Theories of Rights* под редакцией Jeremy Waldron (Oxford: Oxford University Press, 1984). P. 77–90.
- Theory and Definition in Jurisprudence // *The Aristotelian Society*, 1955. Suppl. Vol. 29. P. 239–64. Доклад на совместном заседании Aristotelian Society и Mind Association в University of Leeds 10 июля 1955.

- Рецензия на книгу *Axel Hägerström, Inquiries into the Nature of Law and Morals* (1953) // *Philosophy*. 1955. Vol. 30. P. 369–373.

1956

- Blackstone's Use of the Law of Nature // *Butterworths South African Law Review*. 1956. Vol. 3. P. 169–174.
- Should the Death Penalty Be Abolished? // *The Listener*. 1956. Vol. 55. P. 87–89.
- Рецензия на книгу *Hans Kelsen, The Communist Theory of Law* (1955) // *Harvard Law Review*. 1956. Vol. 69. P. 772–778.

1957

- Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer // *University of Pennsylvania Law Review*. 1957. Vol. 105. P. 953–975.
- Murder and the Principles of Punishment: England and the United States // *Northwestern University Law Review*. 1957. Vol. 52. P. 433–461. Переиздана в *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law* под редакцией Н.Л.А. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1968). Лекция имени Julius Rosenthal была прочитана в Northwestern University School of Law 6 мая 1957 года.

1958

- Positivism and the Separation of Law and Morals // *Harvard Law Review*. 1958. Vol. 71. pp. 593–629. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией Н.Л.А. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1983) и частично в *The Philosophy of Law* под редакцией R.M. Dworkin (Oxford: Oxford University Press, 1977). P. 17–37. Лекция имени Oliver Wendell Holmes прочитана в Harvard Law School в апреле 1957 года. См. русский перевод: Харт Г.Л.А. Позитивизм и разграничение права и морали (пер. с англ. В.В. Архипова) // *Известия высших учебных заведений. Правоведение*. 2005. № 5(262). С. 104–136.
- Dias and Hughes on Jurisprudence // *Journal of the Society of Public Teachers of Law*. 1958. N. S. 4. P. 143–9. Рецензия на статью *R.W.M. Dias and G.B.J. Hughes, Jurisprudence* (1957).
- Legal and Moral Obligation в *Essays in Moral Philosophy* под редакцией A.I. Melden (Seattle: University of Washington Press, 1958). P. 82–107.

- Legal Responsibility and Excuses в *Determinism and Freedom in the Age of Modern Science, Proceedings of the First Annual New York University Institute of Philosophy* под редакцией Sidney Hook (New York: New York University Press, 1958), pp. 81–104. Переиздано в *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1968)

- Decision, Intention, and Certainty в соавторстве с Stuart Hampshire // *Mind*. 1958. Vol. 67. pp. 1–12. Переиздана в *Freedom and Responsibility* под редакцией Herbert Morris (Stanford: Stanford University Press, 1961). P. 208–214.

- A View of America // *The Listener*. 1958. Vol. 59. P. 89–90.

1959

- Causation in the Law в соавторстве с Anthony M. Honore (Oxford Clarendon Press, 1959), xxxii. 454 p.

- Immorality and Treason // *The Listener*. 1959. Vol. 62. P. 162–163. Переиздана в *The Philosophy of Law* под редакцией R.M. Dworkin (Oxford: Oxford University Press, 1977). P. 83–88.

- Scandinavian Realism // *Cambridge Law Journal*. 1959. Vol. 17. P. 233–240. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1983). Рецензия на статью Alf Ross, *On Law and Justice* (1958).

1960

- Prolegomenon to the Principles of Punishment // *Proceedings of the Aristotelian Society* 1960. Vol. 60. P. 1–26. Переиздана в *Philosophy, Politics and Society. Second Series* под редакцией Peter Laslett & W.G. Runciman (Oxford: Blackwell, 1962). P. 158–82, и в *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1968). Вступительное слово Харта на заседании Aristotelian Society, London 19 октября 1959 года.

- Acts of Will and Responsibility. The Jubilee Lectures of the Faculty of Law, University of Sheffield под редакцией O.R. Marshall (London: Stevens & Sons, 1960). P. 115–144. Переиздана в *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1968).

- Jurisprudence в *The Concise Encyclopedia of Western Philosophy and Philosophers* под редакцией J.O. Urmson (London: Hutchinson, 1960). P. 143–144.

- Austin's Influence // Oxford Magazine. 1960. Vol. 78. P. 206–208.
- Рецензия на книгу Hermann Kantorowicz, *The Definition of Law* (1958) // The Philosophical Review. 1960. Vol. 69. P. 270–272.

1961

- The Concept of Law (Oxford: Clarendon Press, 1961), x, 262 p. См. русский перевод. Харт Г.Л.А. Понятие права (пер. с англ. Е.В. Афонасина, М.В. Бабака, А.Б. Дидикина и С.В. Моисеева). СПб: Изд-во С-ПБГУ, 2007. 302 с.
- Negligence, Mens Rea, and Criminal Responsibility в *Oxford Essays in Jurisprudence* под редакцией A.G. Guest (Oxford: Oxford University Press, 1961). P. 29–49. Переиздана в *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1968).
- The Use and Abuse of the Criminal Law // The Oxford Lawyer. 1961. Vol. 4, No. 1. pp. 7–12. Переиздана в *The Lawyer* Vol. 8, Nos. 2 & 3 (Trinity & Michaelmas 1965). P. 47–51.
- Рецензия на книгу Dennis Lloyd, *Introduction to Jurisprudence: With Selected Texts* (1959) // Law Quarterly Review. 1961. Vol. 77. P. 123–125.
- Austin John в *Encyclopedia Britannica* (14-ое издание, 1961), Vol. 2. P. 700–701.

1962

- Рецензия на книгу Richard A. Wasserstrom, *The Judicial Decision* (1961) // Stanford Law Review. 1962. Vol. 14. P. 919–926.
- Bentham // Proceedings of the British Academy. 1962. Vol. 48. P. 297–320. Переиздана в *More Essays in Legal Philosophy* под редакцией Robert S. Summers (Oxford: Blackwell, 1971), 18–42; с незначительными изменениями в *Jeremy Bentham. Ten Critical Essays* под редакцией Bhikhu Parekh (London: Frank Cass, 1974), 73–95; и частично в *Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1982). P. 4–7.
- Punishment and the Elimination of Responsibility (London: Athlone Press, 1962). 32 p. Лекция имени Hobhouse Memorial Trust прочитана в King's College, London, 16 мая 1961 года. Переиздана в *Pun-*

ishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1968).

1963

- Acts of Will and Legal Responsibility в *Freedom of the Will* под редакцией D.F. Pears (London: Macmillan, 1963). P. 38–47.
- Kelsen Visited // *UCLA Law Review*. 1963. Vol. 10. P. 709–728. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1983).
- Holmes’s Common Law // *The New York Review of Books*. 1963. Vol. 1, № 4. P. 15–16. Рецензия на книгу *Oliver Wendell Holmes, The Common Law* (1963). Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1983) под названием “Diamonds and String: Holmes on the Common Law” и частично в *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1968).
- Law, Liberty, and Morality (London: Oxford University Press, and Stanford, California: Stanford University Press, 1963), viii, 88 pp. Переиздана New York: Vintage Books, 1966, viii, 88 p.
- Introduction в *Ch. Perelman, The Idea of Justice and the Problem of Argument* (London: Routledge & Kegan Paul, 1963). P. vii–xi.

1964

- Self-Referring Laws в *Festskrift tillägnad Professor, Juris Doktor Karl Olivecrona* под редакцией Fritjof Lejman (Stockholm: P.A. Norstedt & Söner, 1964). P. 307–316. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1983).
- Duty в *A Dictionary of the Social Sciences* под редакцией Julius Gould & William L. Kolb (New York: Free Press, 1964). P. 213–14.

1965

- The Morality of the Criminal Law. Two Lectures (Jerusalem: Magnes Press of the Hebrew University, and London: Oxford University Press, 1965). 54 p. Лекции имени Lionel Cohen, Tenth Series прочитана в Hebrew University, Jerusalem, 1964: Changing Conceptions of Responsibility. P. 5–29 и The Enforcement of Morality. P. 31–54. Первая

из этих лекций переиздана в *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1968).

- Рецензия на книгу Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (1964) // Harvard Law Review. 1965. Vol. 78. P. 1281–1296. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1983).

- Рецензия на книгу Barbara Wootton, *Crime and the Criminal Law* (1963) // Yale Law Journal. 1965. Vol. 74. P. 1325–1331.

1966

- Beccaria and Bentham в *Atti del Convegno internazionale su Cesare Beccaria, Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino*, Series 4a, No. 9 (Turin: Accademia delle Scienze, 1966). Переиздана с незначительными изменениями в *Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1982) под названием “Bentham and Beccaria”. Лекция прочитана на International Conference on Beccaria, Turin 4 - 6 октября 1964 года.

1967

- Social Solidarity and the Enforcement of Morality // The University of Chicago Law Review. 1967. Vol. 35. P. 1–13. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1983).

- Bentham on Sovereignty // The Irish Jurist. 1967. N. S. 2. P. 327–335. Переиздана в *Jeremy Bentham. Ten Critical Essays* под редакцией Bhikhu Parekh (London: Frank Cass, 1974). P. 145–153.

- Intention and Punishment // Oxford Review. 1967. Vol. 4. P. 5–22. Переиздана в *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1968).

- Varieties of Responsibility // Law Quarterly Review. 1967. Vol. 83. P. 346–364. Частично переиздана в *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1968).

- Legal Positivism в *The Encyclopedia of Philosophy* под редакцией Paul Edwards, Vol. 4.

- York: Macmillan and Free Press, and London: Collier-Macmillan, 1967). P. 418–420.

- Philosophy of Law, Problems of в *The Encyclopedia of Philosophy* под редакцией Paul Edwards, Vol. 6. P. 264–276. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1983).

1968

- Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law (Oxford: Clarendon Press, 1968), x, 271 p.

- Kelsen's Doctrine of the Unity of Law в *Ethics and Social Justice* под редакцией Howard E. Kiefer & Milton K. Munitz (Albany: State University of New York Press, 1968). P. 171–199. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1983).

- Austin, John в *International Encyclopedia of the Social Sciences* под редакцией David L. Sills. Vol. 1 (New York Macmillan and Free Press, 1968). P. 471–473.

- Duty в *International Encyclopedia of the Social Sciences* под редакцией David L. Sills, vol. 4 (New York Macmillan and Free Press, 1968). P. 320–324.

1970

- Соредактор издания *Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: Athlone Press, 1970), xliii, 343 p., и соавтор "Introduction", xxxvii–xliii.

- Редактор издания *Jeremy Bentham, Of Laws in General* (London: Athlone Press, 1970), xlii, 342 pp., и автор "Introduction," xxxi–xlii.

- Jhering's Heaven of Concepts and Modern Analytical Jurisprudence в *Jherings Erbe. Göttinger Symposion zur 150. Wiederkehr des Geburtstags von Rudolf von Jhering* под редакцией Franz Wieacker & Christian Wollschläger (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970), pp. 68–78. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией Н.Л.А. Харт (Oxford: Clarendon Press, 1983).

1971

- Bentham's "Of Laws in General" // *Rechtstheorie*. 1971. Vol. 2. P. 55–66.

1972

- Bentham on Legal Powers // *Yale Law Journal*. 1972. Vol. 81. P. 799–822.
- Abortion Law Reform: The English Experience // *Melbourne University Law Review*. 1972. Vol. 8. P. 388–411.
- The Concept of Law (Oxford: Oxford University Press, 1972), viii, 263 pp. Переиздание с добавлением “Select Bibliography of Critical Writings”. P. 257–258.

1973

- Bentham on Legal Rights в *Oxford Essays in Jurisprudence, Second Series* под редакцией A.W.B. Simpson (Oxford: Clarendon Press, 1973). P. 171–201.
- Bentham and the Demystification of the Law // *Modern Law Review*. 1973. Vol. 36. P. 2–17.
- Rawls on Liberty and Its Priority // *The University of Chicago Law Review*. 1973. Vol. 40. P. 534–555. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1983). Вступительное слово на симпозиуме “John Rawls’s *A Theory of Justice*”.

1976

- Law in the Perspective of Philosophy: 1776-1976 // *New York University Law Review*. 1976. Vol. 51. P. 538-551. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1983) под названием «1776–1976: Law in the Perspective of Philosophy». Доклад на конференции «American Law: The Third Century» в New York University School of Law 30 апреля 1976 года.
- Bentham and the United States of America // *Journal of Law and Economics*. 1976. Vol. 19. pp. 547–567. Лекция «1776: the Revolution in Social Thought» прочитана в University of Chicago Law School.

1977

- American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream // *Georgia Law Review*. 1977. Vol. 11. P. 969–989. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1983). Лекция имени John A.

Sibley прочитана в University of Georgia School of Law 14 апреля 1977 года.

- Соредактор издания Jeremy Bentham, *Comment on the Commentaries and A Fragment on Government* (London: Athlone Press, 1977), li, 576 pp., и соавтор «Introduction», xix–li.

- Utilitarianism and Natural Rights // *Praktika Tes Akademias Athehon: Proceedings of the Academy of Athens*. 1977. Vo. 52. P. 162–76. Лекция прочитана на заседании Academy of Athens 13 декабря 1977 года.

1978

- Morality and Reality // *The New York Review of Books*. 1978. Vol. 25, № 3. P. 35–38. Рецензия на статьи *Gilbert Harman, The Nature of Morality: An Introduction to Ethics* (1977) и *J.L. Mackie, Ethics: Inventing Right and Wrong* (1977).

1979

- Utilitarianism and Natural Rights // *Tulane Law Review*. 1979. Vol. 53. P. 663–680. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1983). Лекция имени Shell Foundation прочитана в Tulane University School of Law 10 ноября 1978 года.

- Between Utility and Rights // *Columbia Law Review*. 1979. Vol. 79. P. 828–846. Переиздана в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1983). Лекция имени John Dewey прочитана в Law School of Columbia University 14 ноября 1978 года.

1980

- Death and Utility // *The New York Review of Books*. 1980. Vol. 27, No. 8. pp. 25–32. Рецензия на статью *Peter Singer, Practical Ethics* (1980). Переиздана в *Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1982) под названием «Natural Rights: Bentham and John Stuart Mill».

1981

- The House of Lords on Attempting the Impossible в *Crime, Proof and Punishment. Essays in Memory of Sir Rupert Cross* под ре-

дакцией Colin Tapper (London: Butterworths, 1981). P. 1–20. Переиздана в Oxford Journal of Legal Studies. 1981. Vol. 1. P. 149–166 и в *Essays in Jurisprudence and Philosophy* под редакцией H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1983)

1982

- Соредактор издания *Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London & New York: Methuen, 1982), lxx, 343 pp., и соавтор “Introduction”, xxiii–lxx.
- *Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory* (Oxford: Clarendon Press, 1982), vi, 272 p.

1983

- *Essays in Jurisprudence and Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 1983), viii, 396 p.

1984

- Arthur Rupert Neale Cross, 1912-1980 // *Proceedings of the British Academy*. 1984. Vol. 70. P. 405–437.

1985

- *Causation in the Law* в соавторстве с Tony Honore. 2-ое издание. (Oxford: Clarendon Press, 1985), xxxii, 516 p.
- Oxford and Mrs. Thatcher // *The New York Review of Books*. 1985. Vol. 32, No. 5. P. 7–9.
- Рецензия на книгу *Ross Harrison, Bentham* (1983) // *Mind*. 1985. Vol. 94 .P. 153–158.

1986

- Who Can Tell Right from Wrong? // *The New York Review of Books*. 1986. Vol. 33, No. 12. pp. 49–52. Рецензия на статью *Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy* (1985).

1987

- Comment в *Issues in Contemporary Legal Philosophy. The Influence of H.L.A. Hart* под редакцией Ruth Gavison (Oxford: Clarendon Press, 1987), 35–42. Доклад «Ronald Dworkin, Legal Theory and the Problem of Sense» представлен на конференции «The Legal Philosophy of H.L.A. Hart» Jerusalem 13–15 марта 1984.

- Between Citizen and State // Israeli Democracy (Tel Aviv). 1987. Vol. 1. P. 27–29. Интервью Харта.

1988

- Соредактор издания *Jeremy Bentham, A Fragment on Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), xxx, 128 p.

1989

- Jurisprudence в *The Concise Encyclopedia of Western Philosophy and Philosophers* под редакцией J.O. Urmson & Jonathan Ree (London: Unwin Hyman, 1989). P. 155–156.

1990

- Рецензия на книги *R.C.J. Cocks, Sir Henry Maine: A Study in Victorian Jurisprudence* (1988) и *K.J.M. Smith, James Fitzjames Stephen: Portrait of a Victorian Rationalist* (1988) // *The English Historical Review*. 1990. Vol. 105. P. 700–702.

1994

- *The Concept of Law*, 2-ое издание (Oxford: Clarendon Press, 1994), xii, 315 p., с новым «Postscript», pp. 238–276, написанным Хартом, под редакцией Penelope A. Bulloch & Joseph Raz.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ.....	13
1.1. Специфика аналитической философии: язык и метод.....	13
1.2. Методы логико-семантического анализа языка.....	24
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВНАЯ ТЕМА ФИЛОСОФИИ ПРАВА.....	31
2.1. Лингвистическая проблематика как предмет исследования.....	31
2.2. Методологические основания изучения языка права.....	55
2.3. Концептуальный анализ, натуралистический поворот и философия права..	67
3. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА ГЕРБЕРТА ХАРТА В КОНТЕКСТЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА.....	80
3.1. Философия действия и интенциональность.....	80
3.2. Как совершать действия при помощи слов?.....	101
3.3. Аскриптивы как перформативные акты.....	123
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	150
ЛИТЕРАТУРА.....	152
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	159
Приписывание ответственности и прав.....	159
Сказка логика.....	184
Библиография работ Г.Л.А. Харта.....	203

Научное издание

ОГЛЕЗНЕВ Виталий Васильевич

Г.Л.А. ХАРТ И ФОРМИРОВАНИЕ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА

Редактор В.С. Сумарокова
Компьютерная верстка Т.В. Дьяковой

Подписано в печать 12.04.2012 г.
Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Печ.л. 13,5; усл. печ. л. 12,5; уч.-изд. л. 13,2.
Тираж 500 экз. Заказ

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
ООО «Типография «Интегральный переплет», 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 28